ГОТИКА – ФЭНТЕЗИ – ХОРРОР

Людмила Рублевская

ЖЕНИХ ПАННЫ ДАНУСИ

Мистическая повесть, рассказы.

Мастацкая літаратура

НОЧИ НА ПЛЕБАНСКИХ МЕЛЬНИЦАХ
Мистическая повесть

Возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что на дороге, по которой возят мертвых, даже трава и деревья меняют цвет.

Густаво Адольфо Беккер

Этот дом построил безумец в безумном месте.

И не было лучшего дома и лучшего места в этом безумном времени.

Огонь добрался до серебряной ленты, которая нежно обвивала свечу из белого, душистого воска, произведенного не иначе как пчелиной королевой (хотя нет, королевы не производят воска, даже такого белого). Лента сразу сжалась, почернела, обнаруживая родство не с благородным металлом, а с бумагой, терпеливой, как потомственная прислуга, и такой же покорной любому хозяину... От нее льстиво потянулась струйка черного вонючего дыма, напоминая неискренний восклицательный знак в конце политического лозунга.

— И это свадебные свечи! — укоризненно проговорила Дорота, гася пожелтевшей серебряной ложкой для чая блестящую бумажку и пытаясь отодрать ее остаток от воскового стебля. — Представьте себе, как такой дым выглядит во время венчания!

— Как предупреждение наивным, — мрачно сказал пан Белорецкий, лысоватый брюнет в очках на веревочках, бывший стипендиант Императорской Академии, фольклорист и любитель частного сыска. — В каждой красоте во время испытания огненной стихией выявляются примеси... С запахом самого обычного, животного страха за свое существование. А впрочем, — пан Белорецкий повернулся всей своей тощей, неуклюжей фигурой в сторону окна, — у нас где-то была еще целая связка погребальных свечей. Ты, Влад, приносил...

Сидевший у окна высокий юноша с красивым надменным лицом, одетый в поношенный сюртук, отозвался ленивым голосом, в котором чувствовались интонации преданного сторонника читательской манеры белорусского парня из Вильни Шверубовича (известного в Империи как Василий Качалов). — Были где-то и

погребальные... Повезло пройтись рядом с церковью, которую под склад экс - про - при -... Господи, это же произнести невозможно... Два свертка у комиссарской телеги и подобрал, пусть Бог простит. Свадебные свечи и похоронные. Погребальные, кажется, Доротка в комод положила...

Дорота повернулась, блеснула огромными темными глазами, в которых когда-то посетители вечеров Общества любителей изящных искусств видели отражение образов Рафаэля и Боттичелли.

— Никаких погребальных свечей! Это... Это уже слишком. В отличие от вас, пан, театральные эффекты не ценю.

— Паненка предпочитает применить лучину? — язвительно произнес Влад и добавил со вздохом. — Впрочем, если кто-нибудь из нас не устроится на работу, перейдем и на лучину.

Пан Белорецкий презрительно хмыкнул насчет самой мысли устройства на работу. За окном плеснулась вода, словно дом был огромным кораблем...

Влад прижался лбом к стеклу, вгляделся в темноту.

— Не спадает паводок...

— Вот и хорошо... — устало сказала Дорота, разливая в фарфоровые чашки напиток с ароматом можжевельника, вереска и осенних яблок — и точно из перечисленного и сваренный. — Значит, у нас есть еще несколько дней. А потом...

Она замолчала, поскольку что будет потом — знали все... Дом бывшего директора реального училища, отца Дороты, деревянное старинное здание с мансардой и резными колоннами, потемневшее от времени, словно лицо извозчика, заберет новая власть ради, конечно же, справедливых потребностей рабочего люда. К последнему директора реальных училищ не причислялись. Господин директор давно перебрался к родственникам в Лошице, а дочь решила остаться. Устроив своеобразную коммуну из своих друзей, которых время так же оторвало от берегов, заколыхало на холодных волнах... Да еще отцов двоюродный брат, пан Белорецкий, что уехал из Петербурга, оставив на дорогах военного коммунизма чемоданы, пальто и веру в справедливость, прибился к молодой компании...

Волны паводка у Плебанских мельниц тоже были холодные — Свислочь и Немига, разлившись, превращали центр городка в настоящую Венецию, и лодка минчанина, привычного к переменчивому настроению губернаторов и стихий, скользила рядом с крышей вагона конки, которая едва видна над грязными волнами... Вот и этот дом в очередной раз стал независимым островом — а те, что собрались

здесь, умели ценить временную свободу... Они даже отпустили по студеной воде единственную старую лодку — чтобы не было соблазна.

— Наш ковчег еще не доплыл до Арарата! — с мансарды спускался чернявый парень, держа в руках стопку старых газет, онемевшее эхо старого мира, которое больше никто не хочет услышать. — Поэтому не забывайте, что мое имя — Ной, и вы должны признавать меня капитаном.

По лестнице стремительно спускалась тоненькая рыжая девушка в коричневом платье, перешитом из гимназического форменного, но совсем не похожая на миндальную гимназисточку — короткая стрижка, в прищуренных глазах — зеленый огонь, как у рыси, а руки, такие тонкие и деликатные — исцарапаны, словно от забав с капризными котятами. В руках девушка держала два бронзовых подсвечника.

— Вот! Хочу, чтобы этой ночью было светло, как на прежних балах!

Влад хотел было встать, чтобы перехватить тяжелую бронзу из девичьих рук, но сдержался и нарочито равнодушно уставился в темное стекло.

Как ни противилась темноглазая Дорота, но похоронные свечи, на этот раз из желтого, как мумия, воска были найдены, лишены черных лент и зажжены...

Обитатели дома посреди паводки уселись вокруг стола. Вересковый чай, сухари, свет погребальных свечей и ветер за окнами... Что еще нужно молодым, чтобы забыть о несправедливости сурового времени?

— Пан Белорецкий, расскажите какую-нибудь страшную историю! — попросила рыженькая Зося.

Фольклорист глянул светлыми глазами из-под треснувших очков.

— Чем страшнее время — тем приятнее слушать выдуманные ужасы... Словно тьма по сравнению с еще большей тьмой на миг кажется светом. Но условие: рассказываем все, по очереди.

Влад лениво возразил:

— А если я никакой мистики не знаю? И вообще материалист...

Белорецкий только усмехнулся.

— А фантазия зачем, молодой человек? Вы же — артист, в тени на стене должны увидеть и Отелло, и Сигизмунда Августа... Мифы, предания, легенды — это воздух, которым дышит каждый город. Это влажный мох на стенах домов, что всползает по ним, будто проказа. Паутина в углах замурованных три поколения назад комнатах, влага,

которая по капле просачивается из черного свода подземелья, вымыв в каменном полу ямку, где может спрятаться огромная жаба... Это вездесуще и неистребимо... Я знаю случаи, когда кто-то придумывал легенду о своем городе, а она сбывалась, и в подвалах солидного купеческого дома находили замурованный скелет, а на башню каждый год, в одно и то же время, прилетал белый голубь...

— И неужели в этом забытом Богом городке, с маленькими грязными улочками и лужами, глубокими, как шляпа смотрителя за кладбищем, где фонарей меньше, чем домов, вы поселите романтические легенды? —недоверчиво спросил Ной. — Я вырос здесь, но руины, на которых мы играли малышами, напоминали только о мрачной и несчастной судьбе распятого на путях истории края...

Фольклорист задумчиво глянул за черное окно.

— Неведомое заглядывает даже в эти окна... Стоит только всмотреться, прислушаться... Неужели вы, пан Ной, никогда не сталкивались с чем-то необычным?

Ной взъерошил ладонью короткие черные кудри, словно торопил ход воспоминаний.

— Ну, разве что история со старой аптекой... — неопределенно протянул он. — Но я был так мал, что все, видимо, перепутал в памяти.

— Все равно, расскажи! — приказала рыжая Зося. — А то строишь из себя какого-то Базарова. А на твоих картинах краски сказками шепчутся.

Ной бросил быстрый взгляд на девушку и, насколько можно было рассмотреть в тусклом свете погребальных свечей, покраснел.

— Ну, хорошо. Только не смейтесь... В этой истории я совсем не романтический герой, а обычный малолетний озорник из местечка, в коротких штанишках и пиджаке старшего брата с заштопанными локтями, с сонмом фантазий в глупой голове...

— Рассказывай, рассказывай! — повторила Зося, и Ной, виновато улыбнувшись рыженькой шалунье, начал...

История о старой аптеке.

Все знают аптеку в Троицком... Ту самую, что по милостивому привилею ясновельможного пана Августа III открыл в 1748 году член минского магистрата пан Ян Давид Шейба. Когда я был маленький, и часто бегал в этот старое здание из позеленевших от времени камней, — казалось, будто его подняли со дна моря, — почти никто там уже не

помнил былых травников, что толкли сухие цветы и корешки в медных ступках, составленных на полках у самой потолка, да перегоняли разноцветные жидкости по ретортам из толстого, словно рождественский лед, стекла... Мы приносили в аптеку собранные по помойкам, выпрошенные у хозяев пустые бутылочки от капель и микстур, зеленые, синие, оранжевые, сквозь которые так удивительно и весело смотреть на мир, и получали свои медяки, а желающие — еще и рассказы аптекаря Йозефа... Он был уже так стар, что хозяин не допускал его рассчитываться с покупателями — это делал аптекарь помоложе. Казалось, Йозеф живет во времени талеров и шелегов, забытый там, как домовой в старом доме. Никто не помнил, когда он начал работать в аптеке, не было у него ни родственников, ни людей, которые могли назваться его друзьями. Жил в каморке в аптечном подвале, с маленьким окошком у самой земли, забранном решетками, словно в тюрьме, да еще постоянно завешанным занавесками. Поскольку из-за тех занавесок доносились разные странные запахи, а иногда выбивались клубы вонючего дыма, можно было понять, что Йозеф и в своей конуре продолжал делать лекарства. Руки Йозефа мелко тряслись, казалось, он просеивает сквозь пальцы невидимый песок времени. Но — это я уже сейчас понимаю — его не увольняли, потому что обладал особым даром составлять специальные отвары... Хоть от прострела, хоть от меланхолии, хоть для отбеливания кожи или прояснения ума нерадивого гимназиста перед экзаменом по латыни. Как сейчас вижу Йозефа в темном углу на противоположной стороне прилавка — очки подвязаны засаленными веревочками, узкое темное лицо, словно вырезанное мечом, нос в синих прожилках, запавшие щеки и поджатые в ниточку губы, черная шапочка на лысой голове, из-под которой выбиваются редкие седые пряди, подобные перьям больной птицы... Наклонился над ступкой, тщательно растирает ее содержимое тяжелым пестиком, добавляет, обрывая с жестких букетов, подвешенных на стене, то листик дурмана, то корешок девясила, то невесомый лепесток мечника, то подсыпает из фарфоровой банки щепотку порошка цвета мертвой воды... Стоило встать около старика — и он начинал рассказ, будто тень твоя, упав на него, разбудила поржавевший, но все еще действенный механизм. Рассказы повторялись, расцвечивались, переливались мелкими деталями, как расшитый жемчугами и самоцветами корсет сказочной королевы... Мы были маленькие и глупые, и мало что запоминали, только подсмеивались. Чаще Йозеф рассказывал о Яне Давиде Шейбе, первом владельце аптеки, и его травнике, которого также звали Йозеф. И вот что я могу вспомнить...

По рассказам Йозефа, был его тезка из 18-го века смуглый и черноволосый красавец, учился своему мастерству в Праге и Сорбонне, и неизвестно где еще... Но, отмечал с затаенным вздохом рассказчик, был тот Йозеф не слишком умным, так как верил, что человек может знать больше, чем поместится в лотке сеятеля, и оставаться счастливым... Если бы родился он рыцарем — славный оказался бы воин и кавалер.

Но Йозеф в детстве бегал в коротенькой рубашке, босиком, по грязной брусчатке местечка, и отец никогда не вкладывал ему в руки рукояти меча, только отполированную до блеска ручку сапожницкого молотка. Однако Йозеф, получив золотую докторскую цепь на шею и бархатный плащ на широкие плечи, не хотел об этом помнить. Как будто человек может разорвать суконную нить своего рода и вплести судьбу в чужие блестящие кружева. Рассказывали, что даже Август III, бывший курфюст Саксонский, в бытование свое королем Речи Посполитой, посылал в аптеку Шейбы за лекарством от ожирения — его величество был толст, как перестоявшаяся кадка с тестом. Конечно, поговаривали, будто не только обычные лекарства готовит Йозеф, но внятны ему разговоры звезд и трав, и корона Лесного короля зашита в его черном кафтане, напротив сердца... И вот как-то на Сретенье посетил Йозефа еще один вельможный клиент, маршалок и староста минский Завиша. Приключилось со знаменитым воителем то же, что испокон случается с мужчинами, чьи волосы перевила серебряная паутина, морщин стало больше, чем шрамов, а сердце забыло постареть. И сердце свое готов он был положить под острый каблучок любушки-голубушки, если бы не боялся, что она и наступить на него побрезгует. Дочь городского советника магистрата Югася имела шестнадцать лет, кожу белоснежную, щечки алые, глаза темные, стан в обхват ладоней — все, как требовала мода времени от красавиц. Казалось, она может пробежаться по мутным волнам Свислочи, как лунный луч. Единственный недостаток имелся — на изящном, самую чуточку курносом носике каждую весну проявлялись, как на лепестках белой лилии, веснушки — позор для знатной паненки. Где покупать притирания? Конечно, в аптеке Шейбы в Троицком. И девица Югася была там гостьей нередкой и желанной, и вместе с притираниями, духами, помадой получала целый ларец веселых шуток Йозефа, чудесных рассказов о василисках да краснолюдках и даже куртуазные песенки – и от звонкого смеха паненки, казалось, взвихрялись в пузырьках и колбах разноцветные отвары. А на что еще мог надеяться безродный аптекарь, только развеселить... Зато вдовый Завиша считал себя женихом из женихов,

тем более благородные браки не ради взаимной любви заключаются. Но слухи ходили, что трех своих жен уморил он, да и пятеро взрослых детей, ждущих наследство, не были слишком привлекательным украшением жениха. Да еще, возможно, панна Югася имела сердечную склонность к кому-то более молодому. Вот и обратился Завиша к Йозефу, чтобы в притирания для паненки добавлял приворотное зелье. Маршалкам аптекари не отказывают. Но что-то не помогали снадобья Йозефа присушить юное сердце... Слова паненка сказала ухажеру поседевшему жестокие: мол, если бы не седина эта, да не морщины, так почему бы не полюбить такого славного воина? Но пока он похож на печеное яблоко, пусть со свислочской русалкой любится, ведь у той глаза из тумана, все равно не рассмотрит, как следует.

И вот ночью по приказу Завиши привели Йозефа, поднятого прямо из постели, в одной рубашке, в Минский замок — его руины остались там, где сливаются Немига и Свислочь. Маршалок изрек одно: не выйдешь отсюда, пока не сваришь зелье, которое вернет мне молодость. Напрасно клялся Йозеф, что не под силу человеку повернуть время назад, и черные кони бога Хроноса затопчут любого, ни один смертный не заставит их ступить в сторону от колеи, выбитой на Пути Предков. Ничего не слушал Завиша. И взялся Йозеф за дело. Целую неделю старательно работал он в подземельях замка, выходя только для того, чтобы поглядеть с караульной башни на звезды, и подслушать их разговоры, и пересчитать призрачные бусины их путей... И однажды протянул Йозеф господину бронзовый кубок, в котором дымилось подобное жидкому металлу зелье... И не было уверенности в его глазах. Завише пришлось пожить в королевских дворцах, где даже пол выслан предательством и ядом, и спасает только постоянная осторожность, и приказал аптекарю: "Выпей сам. А завтра, если зелье не обманное, выпью и я".

Йозеф осушил кубок. Аптекаря посадили в самый дальний угол подземелья и поставили охрану. Назавтра туда пришел Завиша. И увидел в ярком свете факелов, что с каменного пола поднимается незнакомый старик... От полуночи до рассвета волосы Йозефа стали седыми, кожа пожелтела и сморщилась, губы, еще вчера властные и розовые, стянулись в нитку, спина согнулась...

В безудержный гнев впал магнат. Напрасно Йозеф кричал, что не виноват, что просто не успел довести до ума свое снадобье... Завиша приказал бить аптекаря нещадно плетьми и выжечь на его спине и груди первые буквы его имени и слово "предатель". И заключить в темницу до смерти, ибо она, разумеется, такому старцу в затылок дышит, как лучший палач.

Говорили люди, что смуглый Йозеф сам был влюблен в паненку Югасю, потому и не помог Завише... Но разве можно уберечь дикую розу на меже чужого поля? В окрестных деревнях начался мор... Выкашивал людей, как пьяный косарь — траву, оставляя отдельные участки, не разбирая, где высокие стебли, где юные ростки... Минчане в страхе ждали, когда беда зайдет в город. Жгли костры из можжевельника и полыни у ворот и на перекрестках, пристально осматривали каждого, кто хотел зайти в город — не несет ли заразу, или может сам и есть – заколдованная болезнь? Горожане рассказывали, что видели хворь в виде красивой девушки, махающей с кладбища в сторону города красным платком... Другие утверждали, что она являлась как женщина с коровьими ногами на тройке вороных коней, и почему-то все время нюхала табак из черной табакерки. Другие видели, как худая женщина, синяя, как пуп, ходила по Свислочи, словно по тропинке — ясное дело, в холеру и лягушка не квакнет, будет засуха. Какую-то нищенку забросали камнями возле Татарского конца — бедняга была кривая на один глаз... И шептались на Верхнем рынке, и на Нижнем, и на Молочном, и на Рыбном, который на мостках через Немигу, что самый надежный способ предотвратить мор — подкараулить, кто заболеет первый, и закопать его живьем...

О том, что заболела юная дочь советника, соседи узнали от служанки... Назавтра девушку хоронили на Золотой Горке. Почему-то в закрытом гробу. Родителей на похоронах не было...

Мор все-таки пришел в город, собрал свою дань... И потом уже никто не мог точно рассказать, что творилось во время смертельного страха, который диктует свои законы. Над могилами жертв заразы не было ни сил, ни желания ставить знаки... Но над могилой паненки Югаси все-таки положили каменную плиту с надписью: "Цвела роза, не досталась никому, только Господу одному".

Все проходит, прошла и зараза... Доминиканцы пронесли городом деревянную статую святого Роха, покровителя заболевших, обретенную по сновидению монашки в развалинах монастыря, и жизнь начала крутить свои жернова... Завиша уцелел и уехал в Варшаву. Чтобы через год умереть на королевском застолье — шляхтич на балах должен пить, пока будет не в состоянии подняться, а у магната и годы, и сердце больное... А стариком себя считать не хотел. А может, надеялся заглушить вином сердечную боль? Так и упал под стол с недопитой чашею...

Минули года. В Минске открылись забитые досками окна проклятых болезнью домов, потянулись на торговые площади

купеческие возы... Вспомнили власти и о заключенных минского замка. За время напасти сторожа сменились, и теперь никто не знал, кем был старик в сгнивших лохмотьях, что неизвестно как выжил в темных подземельях. Никто не помнил его преступления, и раз Божий Бич не поразил его, узника выпустили на свободу, как пускают с цепи старого пса — умирать, прогоняя прочь от дома.

А как он все эти годы хотел умереть! И тогда, когда думал, что случится, если любимая увидит его нынешнего, и тогда, когда знал, чувствовал, что она умирает — а он мог бы спасти, если бы оказался рядом... Любой человек на его месте уже давно умер бы. Но смерть забыла Йозефа, она будто не узнавала его, как старая классная дама нарочито не узнает бывшего ученика, что некогда похитил ее романтические письма времен далекого юношества и, хохоча, зачитал одноклассникам... Йозеф понял, какое зелье он сварил, в чем была ошибка — оно отнимало молодость, но давало вечную жизнь. Зачем?!! Искать ответа на этот вопрос у него хватало времени. Никто не знает, где сейчас Йозеф... Но, скорее всего, он старается найти зелье, которое позволит ему вернуть внимание смерти, и встретиться с любимой...

Вот такую историю повторял изо дня в день старый Йозеф из аптеки в Троицком, и толок, толок в ступе пахучее снадобье... Я пытался нарисовать его углём на куске картона, но мне еще не хватало мастерства. Чтобы рисовать таких, как Йозеф, нужно иметь твердую руку и чуткое сердце. Я не знаю, владею ли этим и сегодня. А вот позже, когда я уже ходил в студию к Крюгеру, один раз видел среди картин учителя портрет Йозефа... Аптекарь был изображен в пестрой восточной одежде, но я узнал его... Учитель назвал картину "Агасфер". Я никогда позже ее не видел и ничего о ее судьбе не знаю.

Однажды я прибежал в аптеку с очередными бутылочками и не услышал знакомого бряцания пестика. Йозефа в углу за прилавком не было... Молодой аптекарь спокойно сообщил, что старик этой ночью умер, его готовят к погребению...

Надо ли говорить, что я помчался к маленькому подвальному окошку. На этот раз занавески были отдернуты. Первое, что я увидел — тело, лежавшее на столе. В каморке, как я и представлял, громоздились бутылочки и реторты, снопы сухих трав и груды камешков, высилось что-то похожее на перегонный куб. В печке с приоткрытой дверцей еще теплились угли, а на углях — я хорошо рассмотрел это, так как печка стояла у окна — лежал треснувший стеклянный сосуд с остатками темной жидкости. Две женщины, нищенки из ночлежного дома, которые привыкли подрабатывать

подобным образом, переодевали покойного по обычаю в свежую рубашку. Они стащили с него одежду, и... я увидел на его груди шрамы от ожогов, которые складывались в слово "предатель". И еще инициалы — "И.Д.Ш.".

Йозефа, по его завету, похоронили на Золотой Горке. А я поступил в ремесленное училище и перестал ходить в аптеку в Троицком.

Ной закончил свой рассказ, и виновато улыбнулся.

— Ну вот видите, ничего особенно мистического...

— Значит, веснушки — позор для барышни, — язвительно сказала Зося, прикоснувшись к своему носику. — Ну-ну... Я тебе припомню это, Ной, когда следующий раз пригласишь танцевать.

— Вот интересно, я тоже когда-то забегал в ту аптеку, за лакричными леденцами, но никакого Йозефа не помню, — сказал Влад. — Может, я просто не узнал твоего Агасфера?

Ной гневно обернулся к другу.

— Ты что, думаешь, я это в книжках вычитал?

Дорота примирительно сказала:

— Впрочем, Влад мог заходить в аптеку уже после смерти старика. А кстати, что, если поискать на Золотой Горке могилу паненки Югаси?

— Я искал и нашел, — спокойно и просто сказал Ной. — Каменная плита... Почти ушла под землю, в углублениях надписи вырос мох, и кажется, что буквы сделаны зеленым бархатным шнуром. "Цвела роза, не досталась никому, только Господу одному". Больше ничего, ни имени, ни года... А могилы Йозефа я нигде не встретил, хотя и похоронили его не так давно.

— Сейчас не хватает нескольких деталей, чтобы рассказ можно было причислить к рождественским, — отметил Влад. – Стоит, чтобы призрак Йозефа появлялся в углу аптеки в Троицком и толок в призрачной ступе травы... Или чтобы ступка на верхней полке начинала звенеть в день его смерти.

— А на Золотой Горке появлялись две призрачные фигуры, в обнимку и со свечами, — насмешливо сказала Дорота. — Бросьте дурачиться. Говорить о привидениях — накликать беду. Я Ною верю, но — никакой мистики. Был старый аптекарь, выжил из ума, путал сказки и собственную жизнь... Может, с контрабандистами когда связался, или с какими-то нигилистами, вот и заработал шрамы...

— Кто бы мог ожидать от такой утонченной барышни такого реализма! — улыбнулся молодой артист. Дорота бросила на него раздраженный взгляд:

— Есть вещи, которыми не играют, пан. Если бы не людское глупое любопытство, может, не было бы сегодня этого наводнения...

— Ага, панна Дорота делает намеки на какую-то таинственную историю, — оживился пан Белорецкий. — Сделайте милость, юная хозяйка, расскажите.

Дорота немного огорчилась.

— Ну, это не моя история... Это рассказывал отец. И то — чтобы напугать меня, маленькую, чтобы я не капризничала и не задерживалась на дворе дотемна.

— Расскажи, Доротка! — потребовала Зося у подруги, и та, бросив беспокойный взгляд на красавца Влада, который приготовился слушать со своей всегдашней уверенной улыбкой, начала...

История о Плебанских Мельницах.

Я не знаю, почему люди так любят страшные истории. Конечно, все жаждут чудес. Без веры в чудо душа слепая, словно ночной мотылек. Но очень часто в поиске необычного мы летим, как те бабочки, не к звездам, а на огонек свечи или коптилки... И с тем же печальным результатом, что и для настоящего мотылька. И не надо посмеиваться надо мной — я знаю, что вы и так считаете меня слишком... рассудительной. Что поделаешь? Я росла в семье учителей, где слово "нравственность" звучало чаще, чем слово "праздник". Все знают, что наводнения бывают у нас из-за Плебанской плотины. Построили ее для мельниц... Одна принадлежит Доминиканскому костелу, вторая — архиерейскому дому. И заброшены давно мельницы, но город так и не смог убрать плотину, которая превращает реку в гниющий пруд, так как и костел, и церковь запросили за свое имущество столько, что горожане полвека собирали деньги на выкуп. Но есть и другое объяснение. Ведь когда-то именно мимо этих мест плыла по реке икона Матери Божией Минской... Против течения, из горящего Киева, кинутая в воду татарином. Горожане нашли икону в Троицком, когда утром над берегом появилось сияние. До сих пор святыня хранится в минских храмах, и покровительствует нашему городу, и, даст Бог, будет опекать вечно... Тем более говорят, что нарисована икона рукой самого апостола Луки. Когда-то княгиня Друцкая, очень набожная, заказала для иконы дивный оклад — из серебра, украшенный драгоценными камнями. Можно, конечно, возразить — зачем те ценные оклады, когда для верующего главное не блеск камней, а лик святого, и Богородица не в

короне и серебряных ризах, а босиком по земле ходила. Но любая жертва, данная с верой и любовью, не будет отвергнута. Даже нищий жонглер, который, не имея что принести в дар Пресвятой Деве, начал показывать перед ней свое грешное искусство, заслужил от нее аплодисменты — деревянная скульптура ожила. Так, люди всегда надеются на чудо. Надеялись и наши предки, когда к городу приближалось войско татарского темника Менгли-Гирея. Но наши предки знали и то, что надо защищать свою родину до последнего. Накануне по городу прошелся мор, воинов не хватало, и надежд на спасение было меньше, чем воды в печи. Женщины, и мещанки, и шляхтянки, плотно подвязывали волосы белыми платками и делили места на оборонительных валах, дети, даже самые малые, смотрели на них сухими глазами и стаскивали камни в кучи — не для игры, а для защиты. Дым далеких костров, словно хвосты черных лисиц, колыхался возле леса — там остановились враги. Тогда ночью в церкви княгиня Друцкая — то ли по сновидению, то ли напророчил юродивый на паперти, а в такое верили неопровержимо, — с молитвою достала из оклада святой иконы четыре драгоценных камня — изумруд, хризолит, бирюзу и красный карбункул, положила каждый камень в серебряный ларец и послала доверенных людей, чтобы те закопали камни в четырех концах города. Пока те камни будут в земле, никакой враг город не возьмет. Самый ценный и красивый, красный, как рассвет, камень — карбункул — закопали возле Плебанских мельниц... И город на тот раз уцелел — пришла помощь... Правда, затишье длилось недолго. Захватывали наш город русские, шведы, поляки, немцы... Видимо, добрались жадные руки до закопанных святых камней. Но рубин около мельниц оставался... Поэтому и город не исчезал, возрождался снова и снова. Не знаю, каким образом, но о сокровище узнали. И что бы вы думали? Нашлись люди, которые начали его искать! Некоторые из религиозного рвения. Ведь неизвестно было, у которой мельницы святая реликвия: у той, что принадлежала костелу, или у той, что принадлежала православной церкви. А какое это было бы доказательство истинности конфессии! Обе мельницы дружно мололи муку, одна вода крутила их колеса, и никто не делил хлеб на лучший и худший от того, на каких жерновах было смолото зерно... Но люди, пока их не смелет на своих жерновах смерть, делятся и делят, и всегда находят основание для ненависти. Ну а другие, маловерцы, и католики, и православные, смеясь над предрассудками, просто хотели разбогатеть. Копали тайно, украдкой, шныряли у водяных колес, заглядывали в воду, ища серебряный ларец с карбункулом... Но всегда были и те, кто дорожил заветами

предков и готов был защищать святое любой ценой. Поэтому не раз поутру воды Свислочи прибивали к берегу мертвое тело с рассеченной мечом головой. И стали говорить, что мельницы — место опасное, что там по ночам орудует нечистая сила, и водяные крутят их колеса, несмотря на святые молитвы. Но о каких мельницах так не говорят? Прошло двести лет с того времени, когда княгиня Друцкая достала из оклада святой иконы четыре камня. На одной из мельниц — никто не помнит, на которой – служил набожный и скромный мельник. Был он силен, как все мельники, так как судьба их — всю жизнь носить тяжелые мешки, и, несмотря на тихий нрав, мог защитить свою мельницу. И дочь его была скромной и благочестивой... Мне бы очень хотелось сказать, что она была красивой, но это не так. Ее глаза были сильно скошены, и дочь мельника, видимо, считала, что судьба ее предрешена так же, как предопределена она у разбитого кувшина... Хотя что такое женская красота? Вот кому-то из венценосцев импонирует тонкий стан, и несчастные девочки с младенчества затягиваются в корсеты, пока не смещаются ребра, и от невозможности полностью вздохнуть красавицы каждый час теряют сознание... Тем самым подтверждая миф, какие они слабенькие и нежные, словно крылышки бабочки... А раньше на протяжении веков имитировали беременность — ведь кому-то из вельможных панов понравилось именно это... Любовница французского короля на прогулке скрепляет прическу кружевной подвязкой от чулок — королю нравится, и вот дамы, друг перед дружкой, громоздят себе на голову башни из кружев, добавляя каркас из проволоки, цветы, чучела птиц... Прическа — на полгода, спать на специальных подушках-подставках, чесалки для головы — гонять "живность", не повреждая прическу.

Так что я не знаю, была ли дочь мельника настолько некрасива, как сохранилось в предании.

Мельник тяжело заболел... Застудился после того, как воробьиной ночью посидел на берегу, вместо того, чтобы прятаться от грозы и ливня у домашнего очага. Такой уж был обычай у мельника — по ночам гулять по берегу реки. Перед смертью он сказал дочери, которая почернела от горя: "Ты не останешься одна. И дело моё не погибнет. На третий день после моих похорон к тебе придет жених. Он скажет: "Благослови тебя Матерь Божья Минская"... Слушайся этого человека".

И стало так. Тот, кто вдруг посватался к дочери мельника, был настоящий шляхтич, рыцарь, который прошел не одну войну, весь в шрамах, как дверь корчмы... Шляхтич, который женится на

простолюдинке, да еще косоглазой — это было неслыханное чудо... Одни говорили, что жених — его звали Данила — сумасшедший. Недаром перед этим в монастырь просился. Рыцарь — да в монахи! Другие говорили, все от нищеты. Не привез Данила с войны полные руки перстней — одни только раны... Поэтому и в монастырь просился... Так дочь мельника получила красивого и благородного мужа. Молилась на него... ветерком расстилалась под ноги. Как будто бы покорность может породить любовь — она же, как искры, высекается при столкновении двух достойных... Данила почти не смотрел на жену. Все ночи проводил он не на ложе, рядом с ней, а на берегу Свислочи. И меч свой с собой непременно брал... И если иногда внизу по течению качали волны мертвое тело бродяги — кому было дело, кто разрубил бедную непутевую голову? Жизнь человеческая не стоила и гроша... Но мельничиха не задумывалась над этим. Ее мир был — ее любимый муж, который не смотрел на нее. И она искренне верила, что виной тому ее косые глаза. Так и представляю: идут площадью с ярмарки, впереди мрачный плечистый мужчина с упорными холодными глазами, за ним, завернувшись в плащ и низко нагнув голову, мелким шагом спешит женщина. Она обеими руками прижимает к себе тяжелую корзину, а кто-то обязательно кричит ей в спину дразнилку... И однажды, во время первых весенних дождей, когда Данила вернулся под утро на мельницу, его ждало ужасное зрелище: жена лежала посреди комнаты, вся в крови, рука сжимала острое шило... А глаза были выколоты.

Впервые жалость к несчастной девушке тронула сердце воина... Но дочь мельника уже окоченела.

Данила вышел на берег Свислочи, достал меч и начал разбрасывать им влажную землю у самого мельничного колеса... И вот уже он стоит, и луна багровеет от камня в его руках. Размахнулся Данила — и бросил бесценный камень в воду. Волны на какой-то момент наполнились багрянцем, потом погасли, почернели... И вдруг поднялись, угрожающе зашумели...

Так начался страшный паводок, какого не помнили до сих пор. И те наводнения будут повторяться, пока на дне Свислочи лежит священный карбункул, алый, как заходящее солнце...

— Так все-таки под которой мельницей был закопан карбункул — архиерейской или костельной? — поинтересовался Влад, который, казалось бы, не очень внимательно слушал Дороту. Та равнодушно пожала плечами.

— Никто не знает...

В очках пана Белорецкого отражался огонек погребальной свечи, словно огнем горели его интеллигентские глаза.

— Интересно, это довольно распространенный в мире, так называемый магистральный сюжет. Нечто подобное я слышал в Англии, о трех коронах, которые король саксов приказал закопать на побережье страны — якобы в качестве защитного талисмана от норманов... Что, кстати, не помешало норманам захватить Англию и ассимилировать саксов.

— Отец говорил, что в хорошую погоду с моста можно рассмотреть, как в воде блестит карбункул... — задумчиво проговорила Дорота. — И когда-нибудь появится рыцарь, который его достанет и вернет на икону Матери Божией Минской...

— Тогда спадет паводок, и сюда заявится коммунистическая сволочь, — издевательски произнес Влад.

— Почему сразу "сволочь"? Не надо огульно оскорблять людей, которые борются за хорошую идею, — вскинулся Ной. — Идея революции справедлива. Неужели ты хотел бы, чтобы здесь распоряжались черносотенцы с нагайками? Просто каждая хорошая идея, будто корабль — раковинами, обрастает дураками, которые все портят.

— Вот эти дураки и выставят нас на улицу... А меня еще и расстреляют, как сына аристократа... — добавил Влад.

Зося фыркнула.

— Тоже мне, большой аристократ твой отец... Начальник почтового отделения, чиновник десятого класса... А что, поляки, которые за одно белорусское слово сажали, или немцы, были лучше, чем те коммунисты? А может, твои эсеры, с которыми как-то связался? Хорошо, бомбу бросить ни в кого не успел...

Пан Белорецкий удивленно взглянул на молодого человека.

— Вы были эсером?

Влад прикусил губу.

— У эсеров свои достоинства... По крайней мере, все честно — подлец должен отвечать за свои гнусности... А в большевиков я и сам поверил было — пока не разогнали наш съезд.

Ной упрямо потряс головой.

— Вот увидишь, все наладится! По крайней мере, не будет такого, как было — когда я, еврейский мальчик, чтобы поступить в гимназию, должен был выучить буквально наизусть десять учебников, чтобы не дать себя "срезать"...

Влад грустно улыбнулся.

— А помнишь, как меня преподаватель грамматики лупил линейкой за то, что я назвал себя белорусом? А потом, дома, еще и отец добавил... А я просто увидел выступление труппы Буйницкого, и понял, что это — мое, мой язык, мой народ... Учитель в школе кричал, что я должен гордиться тем, что я — русский. А отец кричал, что мы — поляки, народ славный и гордый. А я показывал ему нашу семейную реликвию — привилей на имение, подписанный королем Сигизмундом Августом, читал: "І датоле дзяржацi з ласкi гаспадарскай маець за ўласным вызнаннем”..., и спрашивал: какой это язык? Польский? Русский? И ушел из дома. Ведь получил то, что дороже всякого богатства — родину...

— Да-а, не скоро еще прозвучит ответ на слова Купалы “Цi доўга будзе нам заломам Варшава панская i царская Масква”... — проговорил Андрей Белорецкий. — Мы все еще живем по словам Горецкого: "Я не знаю, кто мне свой и кто чужой. Я держусь дикого нейтралитета и обманываю тех и этих и самого себя... И одна половина его, которая понимала белых, молчала, онемев. И вторая половина его, которая понимала красных, требовала своего...".

— Не понимаю таких колебаний, — проговорила Зося. — Это все от избытка. От изобилия... Хотя... случаются исключения. Вот карбункул, о котором рассказывала Дорота... Подержать в руках такой камень — это стоит, может быть, всей жизни!

Ной, покраснев, произнес:

— Если бы он только существовал, я бы попытался достать его для тебя.

— Ты и плавать не умеешь, пан, — преувеличенно ласково произнес Влад. — Но утонуть тебе не придется: Доротка у нас выдумщица.

— Да, жаль, что это только сказка... — разочарованно проговорила Зося. Дорота бросила быстрый взгляд на Влада, молча повернулась и ушла в другую комнату.

— Обиделась, что ли? — недоуменно проговорил Влад.

Между тем девушка вернулась и, ни на кого не глядя, поставила на стол маленькую шкатулку из потемневшего от времени серебра.

— Вот... Отец говорил, это нашли, когда строили наш дом.

Пан Белорецкий первый взял в руки реликвию.

— Ну и ну... Шестнадцатое столетие, не иначе... И герб, если я не ошибаюсь, Друцких...

Фольклорист откинул крышку.

— Да, здесь мог находиться камень... Или кольцо... Что-то небольшое и ценное.

Молодежь теснилась, заглядывая в шкатулку, внутри которой с четырех сторон были прикреплены проволочки, которые, похоже, должны были удерживать в центре что-то небольшое.

— Значит, карбунул существует! — воскликнула Зося, и отсветы пламени свечи запрыгали у нее зеленых глазах, словно водяные звезды в глазах русалки.

— Я скажу, что было на самом деле... — проговорил пан Белорецкий, кривя тонкие губы. – Была старая шкатулка... И буйная фантазия моего друга, твоего, Дорота, отца, который считает, что задача творческого человека — создавать мифы для своей родины, чтобы делать ее историю интересной. Словно еще одна сказка поможет вернуть золотой век... Который, однако, был и золотой, и кровавый, и пепельный... Пепел минских пожарищ также добавился к крови той эпохи.

— Если хотите знать, я сама видела, как блестит красный камень как раз напротив излучины, что там, на берегу, под мостом... — в голосе Доротеи звенела обида.

— За это время любой камень оказался бы под толстым слоем грязи, — заметил Влад. Но Зося капризно сдвинула брови:

— Вот прекрасное испытание для какого-нибудь рыцаря, который надеется заслужить любовь своей дамы!

Ноя словно подбросило пружиной.

— Я достану этот камень!

Влад поднялся медленно и словно лениво, но в его расслабленой позе чувствовалась непреодолимая сила.

— Если какое-то красное стеклышко и лежит на дне этой речушки, его найду я.

Дорота прижала ладони к губам, с отчаянием глядя на артиста... А Зося... А Зося вдруг рассмеялась — и не было жалости в нее смехе... Ведь не знает жалости девочка, которая впервые, с удивлением и тайной радостью, почувствовала свою власть над сильными мужчинами.

Темные глаза Ноя и синие — Влада встретились... Как издревле встречались взгляды двух, которые любят одну... И впервые это поняли.

— Ага, давайте на поиски, вьюноши, в ночь, в холод и в дивное время диктатуры пролетариата, — насмешливый голос пана Белорецкого прозвучал, как холодная вода на голову буяна. — А вы, барышня, осторожнее с фантазиями... — в словах фольклориста,

обращенных к Зосе, ощущался металл. – И правда, не со всем в этом мире можно играть. Поверьте мне, как старому человеку...

Рыжеволосая шалунья немного смутилась, даже в свете погребальных свечей была заметна краска на ее щеках.

— Подумаешь, а что я такого сказала... Да не надо мне тот карбункул...

Пан Белорецкий уже не улыбался.

— История знает случаи, когда достаточно было слова, и города утопали в крови... Кстати, если бы не прелести одной юной минчанки, в нашей ратуше не было бы и привидения...

Влад и Ной перестали сверлить друг друга взглядами, смутились и даже присели, догадавшись, что сейчас услышат очередную страшную историю. Оба старались не смотреть на Зосю, только Дорота бросила на подругу жгучий взгляд и задала спокойно вопрос.

— Но, пан Андрей, в Минске нет ратуши... Ее давно разрушили.

— Знаю... — пан Белорецкий откинулся на стуле, как будто готовясь читать длинную лекцию. — Разрушили ратушу по личному приказу Николая I, чтобы не напоминала городу о Магдебургском праве и былых вольностях... Но место, где она стояла, во времени и пространстве не меняется... И хранит память о былых событиях.

История о Минской ратуше

А случилась история, о которой я вам расскажу, в авантюрном 18-м веке, как его вычурно именуют, "веке плаща и кинжала»... В белорусском варианте была шляхетская сабля. Или шестопер — булава, которой дробили на дуэлях кости. Страшнее, чем меч, оружие. Ведь, согласно традиции, пока не показывалось достаточно крови — то есть, чтобы Немигой лилась, — дуэль не прекращали. А от удара булавы крови мало. Вот и возникло, так сказать, поколение пробитых черепов... Характерными персонажами эпохи, безусловно, были братья Володковичи, наши земляки — отсюда, с Минщины. Особенно вьелся в печенки современникам Михал — пьянчуга, буян, дуэлянт и любитель женского пола... Не удивительно, что у магната Кароля Радзивилла сделался Володкович любимым другом и товарищем по игрищах и неприглядных проделках. И никто не осмеливался противиться этому здоровяку и пропойце, потому что с Радзивиллами меряться — все равно что целоваться с Поцелуйным мостом в Троицком... И вот накануне Святодухова дня, который называется у

нас "Деды", Володкович проезжал через Минск, оставив городу на память разгромленную корчемку и трех раненых шляхтичей-минчан. Вечерело, и всадник спешил выехать за городские ворота, чтобы до наступления мрачного ноябрьского вечера доехать до ближайшей придорожной корчмы. Где-то в конце Зыбицкой улицы, как раз там, где Свислочь делает петлю, стоял каменный двухэтажный дом с высокими зелеными ставнями, которые всегда были закрыты. Рассказывали, что когда-то в этом доме жил купец с красавицей дочерью. К девушке сватался бедный шляхтич, и, не знаю, как уж так жестоко надо было поступить с тем юношей, но накануне ее свадьбы с другим — богатым — отвергнутый кавалер схватил девушку в объятия и вместе с ней утопился. После здание выкупил другой купец, и хотя ряженые, колядники, нищие и монахи даже на большие праздники ни разу не получили из этого дома и наименьшей милостыни, время от времени из-за закрытых ставень доносилась музыка и звуки веселого застолья. Поскольку магистрат считал, что здесь все в порядке, никто и не думал совать нос за соседский забор... Тем более дом пользовался не очень хорошей славой.

Так вот, ехал Зыбицкой улицей Михал Володкович с двумя амантами-дружками. Шапка набекрень, бриллиантовый "гуз" сияет, как луна, рука в бок упирается, но готова молниеносно ухватиться за рукоять сабли — вот она, лучшая подруга шляхтича, дремлет в ножнах, как молния в туче, не угадаешь, не уследишь, когда блеснет жаждой крови. Когда в доме с зелеными ставнями раскрылось окно, рука пана Михала коснулась рукояти, но тут же потянулась к шапке — почтительно поздороваться, как и полагается шляхтичу... Ведь из окна смотрела на Михала самая красивая дама из всех, которых он когда-либо видел... А видел он всяких красавиц — и в Варшаве, и в Вильно, и в Несвиже... В последних лучах заходящего солнца бледное лицо незнакомки светилось, как снег. Зеленые глаза насмешливо смотрели из-под тонких, изогнутых, как очертания крыльев чайки, бровей, и вместо мертвенного напудренного парика голову девицы венчала уложенная короной черная коса. И платье было черное, из дорогого тонкого бархата. Паненка, не скрываясь, внимательно рассматривала рыцаря, из чего тот заключил, что райская птичка летит прямо в силки. Пан Михал уже держал во рту, как жемчужину, первое галантное слово, но красавица громко произнесла с невероятной насмешкой:

— Страхоморец!

Что означало не больше, ни меньше, как трус. И закрыла окно.

Пан Володкович некоторое время изображал из себя хвощевского идола, не в силах осознать оскорбление. Его — его! — назвать трусом! И кто? Белоголовая! (так, панове, в Великом княжестве называли всех женщин, даже с такими черными волосами, как у дерзкой незнакомки с улицы Зыбицкой). У происшествия были свидетели — два аманта Володковича с некоторой тревогой ждали, в какой "неистовый" поступок выплеснется его гнев. Первое, что сделал пан Михал — начал с бранью колотить в ворота злополучного дома. Но за высоким, обшитым железными полосами, забором не было ни звука, ни движения. Дом затаился, словно в нем царствовала пыль. Да что поделаешь, если и открыли бы — на дуэль вызвать глупую женщину? В глазах Володковича еще светилось ее по-неземному прекрасное лицо, и голос — как звон дамасского клинка...

Начинало темнеть, и пан Михал поддался на уговоры и отправился прочь из проклятого города... Но жажда мести разрывала его сердце. Если не может он взять власть над красавицей, возьмет вместе с ее городом! Не отгородится никакими заборами.

И вот солдаты сердечного друга Михала, Кароля Радзивилла, в Минской ратуше, в зале, где собрался магистрат... И паны советники, пряча гнев, выбирают "баламута" Володковича в правление города...

Дунин-Марцинкевич не зря писал, что Минск наш сплошь веселенький... Добавил Михал Володкович веселья нашему месту. Никто не чувствовал себя защищенным — ни красивая паненка, ни пан судья, ни даже ксёндз в костеле... Не то, что мужику или мещанину, но и шляхтичу пан Михал мог приказать на месте сто и одну нагайку всыпать — норма такая у Володковичей была... Ксендзу Облачинскому отомстил за то, что тот обличал в Мариинском костеле его пьянство — привел во время мессы на площадь цыган с медведями да обезьянами, да выкатил бочку вина... Вот тебе и проповедь получилось — как пишет Крашевский, «что-то звенело, бубнило, блеяло, трубило, пищало, смеялось самыми дикими голосами". Не боялся пан Володкович никого, даже Господа... Однажды рубанул мечом по столу, за которым заседал минский суд, да распятие рассек... Монахи-доминиканцы на похороны шли — носилки отобрал, музыкантам приказал играть полечки, а сам шел и пел... Но громче цыганских песен и барабанов звучал в его ушах высокомерный голос: "Страхоморец!". Конечно, искал Володкович ту красавицу... И не знал, что ему больше принесло бы удовольствия — ударить ее или обнять? Она же точно здесь, в городе... То на мессе в притворе на мгновение светилось ее бледное лицо, то ее силуэт мелькал за окном ратуши... Володкович бросался за ней — но никогда

не мог ее догнать. Ничего, если наблюдает — значит, небезразлична к нему... Пусть убедится, что ничего на свете не боится Володкович. Поэтому, когда пана Михала в очередной раз позвали на суд в ратушу, а доброжелатели послали предупредить — советники сговорились осудить на горло, на смерть, Володкович не захотел убегать, не захотел даже предупредить своего могущественного покровителя... Он пришел на суд, и вел себя еще более дерзко, и сияли из-за встревоженной толпы зеленые глаза... Когда буяна скрутили и приковали цепями к стене в подвале ратуши, он ругался и шутил... И в ненависти судей была примесь страха, как в старом вине – терпкий привкус дубовой древесины, из которой была сделана бочка... Даже когда пришел тот самый ксендз Облачинский, чтобы исповедать осужденного перед смертью — тот не пожелал каяться, страшно ругался и богохульствовал, словно считал все, что происходит, дурацкой шуткой. На какое-то время преступника оставили одного. И тогда к нему пришла Она... В темном платье, с уложенными на голове черными косами, словно корона царицы ночи, и с такими дерзкими зелеными глазами, что Володкович, может, впервые в жизни почувствовал, как сердце слабеет от чужого взора... Она подошла близко-близко, всмотрелась в лицо пленника и тихо, успокаивающе проговорила:

— Ну вот, и закончились твои страхи. Теперь ты будешь моим.

Володкович забыл даже возразить, что он не ведает страха, рванулся в цепях, чтобы обнять красавицу, ее косы упали вниз, сами расплелись черными волнами, в них мелькнули зеленые ленты... Или водоросли? Губы приблизились к губам... Какая она холодная... Как зимняя вода. Глаза, в которые истово заглядывал Володкович, казались все глубже, как водовороты, и превратились в пропасти... Темные, как раскопанная могила. Запах вербены сменился запахом речной тины... И рыцарь истошно закричал, потому что это было страшнее смерти.

Те, кто пришел расстреливать отчаянного шляхтича, рассказывали, что он почему-то был весь мокрый — словно на него плеснули водой из ведра... И словно обрадовался приходу палачей... И смеялся, даже когда первая пуля попала ему в грудь.

Никакой женщины в подвалах, где состоялся тайный и быстрый расстрел, конечно, никто не увидел. Потом начали рассказывать, что дух пана Михала отправился на высший суд нераскаявшимся, и не может покинуть земли... И его призрак печально смотрел из окон ратуши в течение веков... И если ратушу наши потомки отстроят — он опять будет там.

Пан Белорецкий закончил рассказ и потянулся к чашке с остывшим чаем.

— Ну а теперь пан Андрей станет нас уверять, что девушка, которая оскорбила Володковича, была свислочской русалкой, — насмешливо прокомментировал Влад. Фольклорист поставил чашку на стол и чинно откинулся в кресле.

— Комментировать мифы как реальные события нельзя, — произнес он поучительным тоном, — Единственное, в чем я убежден — что в основе каждого мифа, сказания, легенды настоящие события, но часто искаженные до неузнаваемости, как отражение в стремительном ручье. Ужасная трагедия превращается в веселую сказку о Колобке. И, наоборот, за самыми таинственными и романтическими легендами скрывается нечто будничное и даже комическое. Знаете, так идешь по лесной тропинке и видишь прямо перед глазами дивные бусы из наполненных золотым светом жемчужин... Даже сердце займет от неземной красоты. Приглядишься — а это обычная паутина, покрытая росой... Да еще дохлая мошкара в ней висит.

— Ну, насчет дохлой мошкары вместо романтических бус это мы все испытали... — пробормотал Влад, и чуткое ухо Зоси уловило за неопределенными словами тайну, как опытная хозяйка по первому шипению пара узнает, что чайник нужно снимать с огня.

— Влад, а ну рассказывай, что теперь вспомнил! Мы же договаривались — никто не отмолчится!

Молодой человек пожал плечами.

— Вы будете разочарованы. Ни поединка за прекрасную даму, ни встречи с призраком я не пережил. Моя история, конечно, будет театральная.

История о ночном спектакле в Минском театре

Случилось это со мной, когда я еще верил в романтику и в то, что театр — настоящий храм. Я поссорился с отцом и ушел из дома. Два года занятий в студии давали основание верить, что жизнь моя сложится интересно и славно, не хуже, чем у маленького лорда, найденного настоящими родителями. Тогда в нашем городском театре играла антреприза пана Г. Не самая худшая, как я после убедился, но и ничем не лучше других местечковых трупп. Герой-любовник с постоянно напудренным лицом и завитыми, как у Антиноя, кудряшками (он полоскал горло мятной микстурой — ради приятного

запаха и мягкости голоса); героиня, похожая на сухой тростник, в котором живет крикливая птица выпь; субретки с губами сердечком и мечтой о щедром и непритязательном купце первой гильдии; комик с фиолетовым носом; седой "благородный отец" с чрезвычайным умением ругаться с помощью медицинских терминов, вроде "Ах ты клистир несчастный, трахеотомию твою перитонит"... Это был мир искусственный и прекрасный, грубый, приниженный — и высокий. Мир шутов и фигляров, приобщенных к высшим истинам. Костюмы испанских грандов из грубого ситца, украшенные распушенной веревкой и опрысканные золотой краской... Картонный месяц на проволоке и сосновая вода, которой поливали сцену перед каждым спектаклем, чтобы не поднималась вихрем вечная пыль... Я ошивался за кулисами, стараясь как можно чаще попадаться на глаза режиссеру, пану Ревзару, грузному, как старинный буфет, господину с невероятно пышными усами и синим бархатным бантом вместо галстука, и был счастлив, когда мне доверяли потанцевать в толпе немецких крестьян, что встречали своего герцога из крестового похода, либо постоять с пыльным, как деревенская дорога в сушь, опахалом возле трона восточного царя. Получал я такие копейки, что если бы не пустил меня жить к себе Артемка Расторгуев, артист на вторых ролях и горький пьяница, перебивался бы я в ночлежке в Троицком... Да, со стеклянным богом изменяли пани Мельпомене многие ее служители... Труппа теряла участников, как рота на поле битвы. Тем более время было тревожное, начиналась война, в город постоянно стягивались воинские части, что давало театру публику, но не добавляло веры в будущее. Отсутствие той веры проявлялось исчезновением в городе сахара, соли и муки. Даже свечи стало не купить... Несколько артистов мобилизовали... Мне было семнадцать, но выглядел как ладный молодец. И мне постепенно начали поручать роли со словами. Что, кроме чести, давало право на получение дополнительной сельди в пайке. Боже, как я гордился и волновался, как ночи напролет повторял роль перед зеркалом... Особенно мне нравилось играть роль стражника в "Гамлете". Того самого, который рассказывает принцу о появлении призрака. На этом мое участие в спектакле не заканчивалось, я менял бутафорскую кирасу на камзол или рясу и превращался то в придворного на королевском балу, то в монаха, который идет за гробом Офелии, то в воина, который приехал с таинственным Фортинбрасом... Один раз я даже был самим этим Фортинбрасом, когда исполнитель роли принял в антракте коктейль, одним из составных которого был высококачественный стародорожский самогон. Конечно, я мечтал о славе... Ну не может

быть, чтобы никто не обратил внимания, как я раскатисто произношу "р" в слове "пр-рошу" и гордо вскидываю голову... И когда однажды мои мечтания сбылись, я даже не удивился. Солидный господин с черными, завитыми в кольца усиками, в таком элегантном сером костюме английского сукна, что, казалось, сошел с открытки, после очередного представления перехватил меня за кулисами с комплиментами моему артистическому темпераменту и тонкому психологическому рисунку роли... Незнакомец говорил по-русски с легким акцентом. Чернявый, подвижный... Француз? Итальянец? Испанец? Конечно, в душе я со всем, что говорил мой горячий поклонник, соглашался, хотя где-то на краю сознания сидело, как вконец разорившийся корчмарь на крыльце пустой корчмы, сомнение: правда ли в моем "пр-рошу..." вибрировали вселенские эфиры? Но мы, даже повзрослев, охотнее верим в приятное, чем собственным сомнениям.

— Хотите ли вы, молодой человек, сыграть Гамлета?

Ну кто бы в семнадцать лет от такого отказался! Вероятнее коростель откажется от еловых шишек, а городовой от бляхи с гербом. Но дальше началось странное. Меня просили сыграть этакий моноспектакль, произнести самые знаменитые монологи датского принца, и не где-нибудь в частном театрике, перед клумбой-женой и прыщавыми племянниками, а здесь, на сцене театра... Но — ночью. Помещение будет ради этого выкуплено у дирекции. Публики ожидается немного, зато самая что ни на есть избранная и изысканная. И за это — сто рублей гонорара. Бешеные деньги. Случалось, весь сбор нашей труппы за вечер не достигал этой суммы. Вложенные в мою руку двадцать пять рублей аванса подбадривали, просьба никому не рассказывать о предполагаемом ночной спектакле выглядела откровенно подозрительно, будто куриные перья на мордочке домашней кошки. Конечно, все объяснялось моим талантом, которым знатоки хотят насладиться без всяких препятствий.

— Это ваш большой шанс, молодой человек! — доверительно частил усатый господин. — Соглашайтесь! Уверяю, что никакого злого умысла тут нет, и ни в какое позорное дело вас не втягивают. Ну, вы же прирожденный артист!

И сунул мне еще десять рублей.

Я вернулся в свою каморку на Францисканской. Мой товарищ валялся на кровати пьяный и тихий, как фаршированная рыба. Я ходил из угла в угол, будто навязанный барашек, и грезил, как в горячке. То закулисный пан виделся мне коварным Мефистофелем, то благородным Гарун-аль-Рашидом... Наконец я схватился за томик

Шекспира, как костельная старая дева за четки, и попытался представить себя Гамлетом... И — представление затянулось до полуночи... Теперь мне просто невыносимо хотелось показать кому-то знающему все эти обретенные позы и интонации, все живописные драпировки плаща, вместо которого я использовал одеяло... В дверь постучали. Не стану скрывать — я вздрогнул от мистического ужаса. Артемка замычал, завертелся на кровати... Я не стал его растормашивать, тем более легче было заставить говорить кочан капусты, и, набравшись смелости от Гамлета, распахнул дверь. Так начались мои ночные похождения.

До театра меня довезли в закрытом экипаже, пустом, как голова субретки, но с обшитыми бархатом сиденьями. Я тайком выискивал где-нибудь изображение герба — конечно, королевского или, на худой конец, княжеского, но кроме изысканных растительных орнаментов из бронзы не нашел ничего особенного. В таких каретах героев обычно похищают... Но меня высадили на ступенях театра, и сейчас же подхватил под локоть усатый знакомец.

— Мы очень вам благодарны... Скорее, скорее, готовьтесь...

Мы почти бегом вошли в здание, там к нам бросилась дама в платье из черного шелка, с волосами, тоже похожими на черный шелк. В тусклом свете керосиновой лампы, которая освещала её, я разглядел тонкие аристократические черты... И снова мысли о тайной жизни князей и королей полезли в голову. Огромные темные глаза женщины блестели непонятной тревогой, чуть не отчаянием. Она быстро заговорила высоким голосом, который, кажется, прерывался от горя. Усатый ответил ей... Ну вот хотя это выяснилось — итальянцы! Я разбирал отдельные слова, которые засели в памяти из оперных арий: "долоре" — кажется, боль... "Падре" — отец, либо, может, священник, "рагаццо" — мальчик... Это что, про меня? Ну да, про меня... Дама замолчала и стала с недоверием изучать мое лицо, можно было бы сказать, бесцеремонно, если бы не та тревога и горечь, которые окутывали незнакомку, как аромат — куст жасмина. Итальянка что-то спросила у усатого, я понял, сомневается, справлюсь ли. Но усатый энергично замахал руками, похлопал меня по плечу. "Си, си...", залопотал что-то, наверное, вроде "Самое то, не бойся, парень-ураган"...

Дама, прерывисто вздохнув, ушла, бросив мне на прощание странный взгляд, отчаянно-умоляющий, и усатый потащил меня дальше.

— Только, очень вас прошу, ничем себя не сдерживайте. Дайте волю своему темпераменту, играйте в полную силу, импровизируйте!

— бормотал мой спутник мне на ухо, и я начинал понемногу сходить с ума от всего этого.

За кулисами меня ждала открытая гримерка первого героя и костюм датского принца.

Электричество в театре не было включено, и сцена освещалась, как встарь, свечами. Никогда не забуду этот спектакль. Вряд мне удастся пережить когда-нибудь такое невероятное волнение и вдохновение, подогретое опасной тайной. Я вылетел в призрачный свет сцены, чувствуя себя Кином, Сальвини и Качаловым в одном лице. "Быть или не быть — вот в чем вопрос!". Конечно, даже в одержимости ролью я краем сознания жаждал рассмотреть публику. Ее действительно было немного. Семь человек сидели в первом ряду партера. Так, зрелище чуть не смутило меня. Огромная черная пропасть зала, необычная тишина, отблески огня на лицах зрителей... Вот мой усатый импрессарио, вот — знакомая очаровательная дама. Какая-то пожилая женщина в шляпе постоянно подносила к глазам платок, как я после решил, растроганная моей игрой. В общем, трудно представить более благодарную публику. Все следили за каждым моим движением, очень серьезно и сосредоточенно, даже не перешептывались. Но мое внимание оттягивалось на старика в сюртуке, который сидел посреди кампании... Я заметил, что на него направлялись время от времени взгляды всех, вопросительно-встревоженные. Выглядел старик, как истинный Гарпагон, надменный, аскетический скупец. Красавица итальянка сидела рядом с ним и время от времени нежно гладила по руке, словно просила быть более снисходительным. Ага, значит, вот он и есть, мой главный критик!

Я поддал темперамента. Мой Гамлет носился по сцене, как призрак в "волшебном фонаре". Все придуманные перед зеркалом позы, взмахи и взвивы — форте, форте, фортиссимо! Старый пень сидел в кресле, словно проглотив вертел, его глаза смотрели прямо вперед, не мигая, будто он показывал, что не хочет меня видеть. Между тем старую пани так проняло, что она аж заплакала, понурив голову. Ее рыдания добавили мне сил. Я вскинул руки и зарыдал:

"Я ее любил, как сорок тысяч братьев!".

И мои усилия принесли наконец плоды. В глазах старика полыхнул настоящий огонь. Молчаливый до сих пор критик затрясся, задергался, вскочил с места и начал что-то выкрикивать по-итальянски, жестикулируя руками не хуже моего Гамлета. Остальные тоже вскочили, как-то странно зашумели...

Сейчас же на сцену вскочил усатый, его лицо светилось от радости. Он схватил меня за плечи и буквально вытолкнул за кулисы.

— Грацио, грацио... — приговаривал он с неподдельным чувством. — Вы — грандиозо! Великий артист! Мы вам так благодарны! Ваша игра — настоящее чудо. Вы войдете в историю театра!

Я чувствовал себя обескураженным и счастливым. Усатый проводил меня в гримерку, помог переодеться — он, этот важный, утонченный господин, подавал мне мой изношенный пиджак, как прислуга! Меня усадили в тот самый экипаж и снова попросили пока никому не рассказывать о ночном спектакле, мол, иначе я испорчу свою судьбу, которая обещает быть блестящей.

Уже подъезжая к дому, я обнаружил, что в моем кармане — конверт с двумя сотнями рублей.

На следующий день мое восхищение собственным успехом пригасло, и в голову полезло совсем другое. Подробности приключения казались все более и более странными. Кто была та молодая итальянка, почему встревоженная и заплаканная? Может, старик — ее нелюбимый муж, и она надеялась смягчить его возвышенными словами Шекспира? А может быть, я нужен, чтобы исполнить роль чьего-то двойника? Наследника знаменитого рода, дофина, инфанта или как там еще? Я был уверен, что приключение будет иметь продолжение. Может, пригласят на первые роли в какой-нибудь знаменитый театр? Тайно украдут? Или... Не стану скрывать, воображение рисовало сладкие романтические ситуации, в которых одну из главных ролей исполняла та, что назвала меня смешным словом "рагаццо". Я хранил тайну, но начал учить итальянский, а заодно занялся французской борьбой и бегал в тир в Губернаторский сад, так что каждая жестяная утка в том тире имеет на себе вмятины от моих выстрелов.

Прошло три месяца. Я по-прежнему рассказывал датскому принцу о появлении призрака старого короля и встречал в группе пейзан победительного герцога. Однажды, когда я пришел в театр, рыженькая субретка, мадемуазель Нини, либо просто Нинка, предупредила: "Режиссер снова в трауре... Постарайся не попадаться ему на глаза с веселой физиономией". Действительно, на лацкане пиджака господина Ревзара в очередной раз красовался черный бант. Надо пояснить эту традицию нашей труппы. Пан Ревзар появлялся в трауре со страшноватой регулярностью. Вначале я думал, что у пана часто умирают родственники. Но старожилы пояснили, что когда умирает какой-нибудь большой артист, господин Ревзар считает

своим долгом соблюдать по нему личный траур. И горе тому, кто не откликнется состраданием.

Поэтому сейчас, услышав про траурную ленту на рукаве Ревзара, я побежал к Афанасию Афанасьевичу, помощнику режиссера, который бросил выгодную карьеру адвоката ради безумной службы в театре, был он человек добрый и необычной эрудиции, и я стал его расспрашивать, кто из титанов на этот раз получил ангажемент на небесные роли... Услышав фамилию — итальянский трагик М* — смутился... Афанас Афанасьевич, преданный Мельпомене вплоть до крепостного состояния, понял мои колебания и вскипел, как зеленый чай. Как я могу не знать гениального артиста! Я смиренно попросил просветить меня...

— Трагик М* десять лет как покинул сцену, — начал рассказ Афанасий Афанасьевич с неподдельным энтузиазмом и пиететом. — Среди его ролей — и Отелло, и Родриго, и Дон Карлос... Но самая любимая роль, которая принесла ему славу — Гамлет. Говорят, он всю жизнь оттачивал ее, что-то менял, добавлял... Пан Ревзар, счастливчик, видел его в этом спектакле. Мне не довелось... Бедный, бедный М*... Да, юноша, артист должен платить высокую цену за свое вдохновение. Боги не простят тем, кто изъясняется их словами на земле. Не хотелось бы мне об этом рассказывать... Великие мира сего должны оставаться в памяти нашей в блеске и величии. Но... Что ж, тебе полезно знать... В последние годы у М* развилась нервная болезнь. Что-то вроде каталепсии. Он неожиданно впадал в паралич, становился, как кукла... И никакие врачи не могли вывести его из этого состояния. Но однажды нашли рецепт: оказывается, М* могло привести в сознание созерцание спектакля "Гамлет"... Но только тогда, когда его любимую роль особенно скверно исполняли. Правда, со временем это действовало все слабее. Жена и дочь, последняя, кстати, сама прекрасная актриса, к каким только врачам не обращались. Говорят, незадолго до смерти возили больного, несмотря на военные события, в Москву. Наверное, и через Минск проезжали. Эх, если бы я об этом вовремя узнал — посмотреть на великого М*!

Афанасий Афанасьевич остался горевать, а я тихонько ушел... Слава Богу, у меня хватило юмора посмеяться над ситуацией... Хотя рана на самолюбии оказалась болезненной. С надеждой на богатое наследство или премьерство в известном театре я распрощался... Зато владею итальянским языком и французской борьбой. Не говоря уже об умении метко целиться в жестяных уток.

История, рассказанная Владом, заставила всех искренне расхохотаться и на некоторое время забыть тяготы.

— А я думала, ты такой самовлюбленный премьер, — с неожиданной прямотой сказала Зося. — Знаешь, а ты, наверное, больше понравился бы мне в то время, когда был наивен и верил в чудеса.

Влад онемел и отвернулся к окну, видимо, чтобы никто не заметил, как краска прилила к щекам... А Дорота с преувеличенным равнодушием заговорила, гладя тонкими пальцами обычную фарфоровую чашку, словно это был котенок.

— А я видела тебя, Влад, в роли Ариэля в пьесе "Буря"... Это было... здорово.

Влад со вздохом произнес:

— Было один раз. Заболел исполнитель, вот меня и одели в золотистый парик и белый хитон... Половину слов не знал, суфлер чуть не надорвался, шепча. Ну и ария, конечно... Лучше не вспоминать.

— Ну почему ты так о себе? — в голосе Доротеи звучала неподдельная боль. — Я после три раза бегала на тот же спектакль, чтобы тебя увидеть. Но были уже другие исполнители.

Зося фыркнула, как рассерженный котенок.

— Ну, Доротка, а я все думала — почему ты меня на этот занудство таскаешь...

— Если занудство — так чего не отказывалась? — Дорота поджала губы и от этого еще больше стала похожа на викторианскую классную даму.

— Почему не отказалась? — медленно переспросила Зося и мечтательно откинулась в кресле. — Потому что... потому что... я была дочерью швеи, у которой твоя мать заказывала бархатные платья и кружевные блузки, и без тебя попасть в театр, да еще в партер — это было мне не по деньгам.

Дорота густо покраснела.

— Зося... Разве между нами когда-нибудь возникали такие... вопросы? Как сегодня говорят — классовые? Да мне никогда в голову не приходило, что я в чем-то... другая...

— А жаль, что не приходило, — в голосе Зоси вдруг зазвучало что-то жесткое. — А вот мне приходилось часто думать о подобных вещах... Например, чтобы никто в классе не заметил, что у меня единственной не тонкие, шелковые, как у вас, а старые вязаные чулки.

— Девушки, не ссорьтесь, — вмешался пан Белорецкий. Но тут же подал голос Ной.

— А никуда от классовых вопросов не денешься. Потому что революция всех сравняет. И тем, кто должен что-то потерять, тяжелее других... Посоветую одно: не стоит жалеть о том, что было.

Дорота проговорила:

— Разве мне жалко? Если бы здесь устроили что-то достойное, да ради белорусского дела... Я бы с радостью сама отдала этот дом. Но здесь будет какая-то очередная контора.

— Не "какая-то", а комитет по делам образования! — с вызовом проговорила Зося. Влад выразил общее недоумение:

— А ты откуда знаешь? Работать там, что ли, собралась?

— А почему бы и нет? — Зося осмотрела всех зелеными дерзкими глазами. Пан Белорецкий медленно проговорил:

— А она уже согласилась на эту работу... Правда, Зося?

В доме на минуту наступило молчание.

— Ну и что?

Губы Доротеи дрожали.

— Я не имею права тебя упрекать...

Зося гордо вскинула голову, ее волосы будто искрились рыжим огнем.

—Упрекать? За что? За то, что я собираюсь работать ради просвещения своего народа? Вы здесь, как слепцы, испугались первого холодного ветерка. Если происходят перемены — это всегда мучительно, но если не сломается внешняя, твердая оболочка — не покажется и живая, чувствительная сердцевина времени. Надо только перетерпеть боль. Сколько мы мечтали о революции? И вот — мечты, ваши же мечты, сбываются. Создается академия... Ученые Довнар-Запольский, Карский, Лесик, Игнатовский — они же совсем разные, с разными убеждениями. Но работают вместе, на создание Беларуси. Вам, пан Белорецкий, следует стать рядом с ними. Влад, вместо того, чтобы изображать романтическую разочарованность, просился бы в труппу Голубка. Конечно, роль Гамлета тебе там не дадут. Но это белорусский театр!

Ной восторженно улыбнулся в ответ.

— Согласен, Зося! Нам есть на что надеяться.

— Может быть, на воссоединение Беларуси? — мрачно сказал Влад. — Это же позор какой — разделили край надвое, все молчат... Короче, “Кавалі другія, а ланцуг той самы – песні ўсе старыя неаджытай гамы...”. Фабиана Шантыря расстреляли, хотя уж такой большевик был — вместо знамени носи. На Украине поэта Грицко Чупринку к стенке поставили... В России — Николая Гумилева, который про негров и принцесс писал...

— Это необходимые жертвы, — неуверенно сказал Ной.— Помните, Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, ведь те, кто вырос в рабстве, не могли стать свободными и должны были умереть. Но это временно. Университет же создается... И художественное училище в Витебске работает... Кандинский город расписывает в конструктивистском стиле.

Пан Белорецкий грустно смотрел сквозь очки на энтузиастов.

— А вам никто не рассказывал, как уважаемого Довнар-Запольского студенты киевского университета заточили в его квартире, как якобы прислужника царизма? Все друзья и знакомые разбежались... Тех немногих, кто осмеливался посетить профессора, задерживали, обыскивали... У меня отняли даже карандаш и блокнот. Только чудо — точнее, одна преданная профессору ученица, которая сумела "прорваться" к местному комиссару — спасло профессора от расстрела. Вот где порадовались недоросли, которые в свое время получили от строгого преподавателя "неуд"... Пока что услугами "спецов" новые власти пользуются... Но — посмотрите — это ненадолго. Что началось кровью — кровью закончится.

Дорота отвернулась к окну, скрывая волнение.

— Все-таки я верю, что честные и талантливые... такие, как мой отец, всегда будут нужны.

Белорецкий покачал головой.

— А как только надобность в них отпадет... вымрут, как драконы. Или уничтожатся... Я себя так и чувствую в этом времени — как последний, утомленным ожиданием смерти, дракон...

— Кстати, драконы, по-нашему – цмоки, водились в Свислочи! — подал голос Влад. — Иностранцы, удивляясь, записывали, что минчане держали в своих домах вместо каких-нибудь мопсов черных жирных ящериц футов пять длиной.

— А я однажды видел с моста в Троицком, как что-то похожее на такую ящерицу или змею скользнуло под водой, словно душа грешного утопленника... — произнес Ной.

— И сколько сидра ты перед этим выпил в мастерской? — насмешливо спросила Зося.

А Дорота снова молча повернулась и вышла в другую комнату... Хлопнула дверца шкафа... И вот перед глазами опешившей компании посреди стола на деревянном постаменте предстал самый настоящий дракон... Правда, небольшой — со среднего пса. Черная чешуя, даже на вид — крепкая, словно панцирь средневекового рыцаря, пасть угрожающе раскрыта, а глаза — как живые — из черного полупрозрачного стекла с желтыми искорками посередине.

— Слушай, а что в вашем доме еще такое вот... есть? — почти с благоговейным ужасом спросил Дороту Влад. — А то просто страшно становится. Вдруг кто расскажет сказку про мертвую голову — а ты и принесешь ее... На тарелке, как Саломея...

Возмущения Дороты кощунственными словами никто не услышал — все, даже пан Белорецкий, бросились рассматривать и щупать дракона. Пристальный взгляд обнаруживал, что чучело очень старое, местами чешуя осыпалась...

— Бедненький... — Зося погладила свислочского дракона по черной спине. На миг показалось, что он заурчит и завиляет хвостом — Ной и Влад, например, судя по их взглядам, поступали бы именно так.

— А мне бабушка рассказывала, что на Высокой горе, там, где сейчас Юбилейный рынок, жил дракон самых что ни на есть европейских размеров, — сообщил Ной. — И питался, как положено — красивыми девушками. Пока не наткнулся на ту, у которой имелся боевитый жених. Вонзил меч в драконово черное сердце... Но и сам был смертельно ранен. Так их и опустили в Свислочь — и дракона, и рыцаря в хрустальном гробу. Мы в детстве всматривались в то место, и, кажется, видели — на дне, из тины показываются змеевы ребра...

— Вечно цмок во всем виноват... — проворчал Белорецкий. — Лишь однажды я слышал более справедливую трактовку, лирник пел на Нижнем рынке: "Откуда ни возьмись, взялся тот святой Юрий и убил невинного цмока"...

— А что случилось с невестой рыцаря? — спросила Дорота. Ной пожал плечами.

— Об этом история молчит. Или так и осталась невестой, или вышла замуж за другого... Какие еще варианты?

— Я знаю историю про одну невесту... Только не слишком веселую, — сказала Зося.

— Ну вот и расскажи! — обрадовался Влад. — А то все уже что-то рассказали, а вы, барышня, только с драконом возитесь.

Зося раздраженно фыркнула, но рассказ начала.

История о золотогорской невесте.

Однажды к матери пришла заказчица. Случилось это темным осенним вечером, когда голые ветви деревьев отчаянно тянутся к окнам, и последние мокрые листья, сорванные ветром, стучатся в стекло, словно самоубийцы. Заказчица была сухопарой и строгой немкой неопределенного возраста, в плоской шляпе с крохотной

вуалью, неожиданно задиристо откинутой набок — видимо, ветер постарался. Немка осмотрела нашу квартиру, которая служила одновременно и мастерской, но невозможно было ничего прочитать на ее немного мужеподобном лице: презирала она нашу бедность, или ничего особенного в вынужденной скромности квартиры не видела?

Заказ был неожиданный: свадебное платье! Нет, не для нее самой — посетительница даже скривила губы в иронической улыбке, — а для дочери ее хозяев, шестнадцатилетней девушки. Вот и мерки все уже сняты — на листок записаны...

Мама моя растерялась — до сих пор ей не приходилось шить свадебные платья. Множество швей, однако, именно этим и занимаются... Тем более за деньги, которые гостья предложила, можно было заказать костюм в самом шикарном ателье на Губернаторской!

— Понимаете, фрау, мы не хотели бы обращаться в известное ателье! – с некоторой неловкостью в голосе ответила немка. — Нам нужно, чтобы наряд был сшит за двое суток, фасон, украшения — все на ваше усмотрение. И... чтобы об этом вы особенно никому не рассказывали.

Аванс был буквально всунут в мамины руки...

— А где состоится венчание? — успела только спросить мама. Немка немного промедлила с ответом:

— В костеле на Золотой Горке, фрау. Я приду за заказом в субботу утром.

Надо ли говорить, что мать отнеслась к заказу с некоторой опаской, и считала, что ввязалась в какой-то грех, а я — наоборот — с восторгом. Конечно, я все вообразила до мелочей. Верная служанка заказала свадебное платье для своей молодой хозяйки, которая решилась на запрещенный родителями брак... Это будет тайное венчание. Жених, конечно, неимущий. Но ужасно красивый, талантливый и смелый. И сама барышня не менее красивая и смелая... Как мне хотелось, чтобы платье получилось как можно лучше! Но мать и так хлопотала по полной — она была действительно прекрасной швеей... Если бы меньше старалась угодить заказчикам — так, может, не заработала бы после чахотку. Беленький шелк с изысканным узором из лилий, кружева, розочки из атласа... А мне все казалось, что вот, если бы еще пару дней — какую красоту можно было бы создать! Я обметывала швы всю ночь — я же лет с пяти, как только научилась держать в руках иглу, помогала матери, поэтому сейчас ненавижу всякое шитье и вышивание. Привносила в фасон свои фантазии — где добавлю бусинок, где присоберу кружева, так, как видела в магазине на Ратушной площади... В конце, когда уже все

было готово, я подошла к белой призрачной фигуре — в свете свечи казалось, что платье на кого-то одето, и белая фигура вот-вот сдвинется с места... Я еще раз во всех подробностях представила, как завтра наденет этот наряд, скрываясь от мира, красивая бледная девушка, выйдет из черного хода к экипажу, где уже ждет жених — может быть, гусар, потомок обедневшего рода, может, молодой поэт... В храме — никого, кроме свидетелей, никакой пышной свадьбы... И мне захотелось еще чем-нибудь добавить блеска тайному венчанию. Я сняла со шкафа мамину шкатулку для всяческих блестящих мелочей, настоящую сокровищницу Алладина, с брошками, цветами, бархотками, достала лилию из искусственных жемчужин — в детстве я любила ею играться, и пристегнула ее на корсет платья, там, где сердце.

Но когда я утром проснулась, оказалось, что платье уже забрали — я пропустила самый интересный момент, когда можно было понаблюдать, порасспрашивать... Мать только сказала, что пришла та самая немка — ни свет, ни заря, заплатила — и исчезла...

И надо же было такому случиться, что назавтра мать достала со шкафа свою зеленую шкатулку и стала перебирать блестящие штучки —понадобилась какая-то бусина для очередной кофточки... Почему-то в мамином голосе, когда она спросила про лилию, была настоящая тревога... Я, конечно, не стала ничего скрывать — ведь не видела ничего плохого в своем поступке. Но... Оказывается, брошь подарил моей бабушке мой дед, она была на свадебном платье моей матери... Короче, я растранжирила свое наследство (цена которому пять копеек, как я прокомментировала в мыслях), и его следовало вернуть вместе с дорогими воспоминаниями.

Мать по-настоящему расстроилась, спорить было бесполезно... В конце концов, мне где-то в душе и самой было интересно снова прикоснуться к истории с таинственной свадьбой. Стоит представить себя Натом Пинкертоном — не смейтесь, я тогда старательно собирала все эти брошюрки народной библиотеки с приключениями великого сыщика — и тайна раскроется. Немка сказала, что венчание должно было состояться в Золотогорском костеле в субботу. Значит, я узнаю имена жениха и невесты.

Но в костеле сухонький слуга с острым, как клюв, носом так же сухо и остро сообщил мне, что никакого венчания в субботу в храме не было. Я растерялась, а потом заподозрила остроносого в неискренности: конечно же, венчание тайное... Но осторожные расспросы прикостельных старушек также ничего не дали...

— Ну какое же венчание, деточка! — чуть не с сочувствием сказала сухонькая старушка в черном платке, похожая на

монахиню.— Отпевали вчера... Такую же молоденькую девочку. Как ты...

Вторая старушка, в старомодном чепце, с подслеповатыми, но все еще синими глазами, суетливая, как лесная птица, вмешалась:

— Да, да, хорошенькая такая девочка... ангелочек... Часто сюда ходила... В свадебном платье хоронили, так она, как королевна, лежала. Вся в цветах, в кружевах. Перчаточки белые-белые. Платьице с оборками, ткань вся в лилии... Бедная девчушечка... Поскользнулась на мосту, что через Лошицу, упала — а там колья в дно понатыкали... Это не иначе Ледаштик подстроил, злой дух.

— Не Ледаштик, а русалки! В Лошице русалки водятся! — заспорила вторая старушка.

— Какие русалки осенью? Ледаштик! Шевродь этот одноглазый особенно женщин ненавидит и девочек, глянет глазом своим — и ум замглится... С чего бы девчушке с моста падать?

Тем временем вторая старушка завела длинное, словно осенний вечер, рассуждение о тех, кого Господь призывает к себе первыми, но я почти этого не слышала. Все мои фантазии разлетелись, как лепестки искусственной розы, с которой неумелая рука сорвала нить... Счастливая невеста, жених-красавец... А на самом деле сказочная шелковисто-кружевная краса и мамина брошь — здесь, рядом, под слоем земли, влажной и тяжелой, как сама необратимость. Теперь понятно, почему обратились к бедной швее, а не в модное ателье — никто не хочет омрачать настроение заказчиц, которые могут узнать, что рядом с их символом счастья шили наряд для покойницы. Слухи в местечке разносятся быстро...

Я медленно пошла на кладбище. Последние золотые листья сыпались на могилы... Действительно, Золотая Горка... Я вспомнила расказы о другом золотом дожде, который тут сыпался — когда сто лет назад здесь пировала холера и собирала жертвы не меньшие, чем чума. А по-моему, так лучше чума, или, как у этой несчастной девушки, нелепый случай, чем умирать от, простите, расстройства желудка. Люди отчаялись и не знали, как остановить поветрие. Набивались аж по крышу в старый деревянный храм на Золотой горке... Потом, конечно, кто-то сказал, что если храм, Божий дом, такой бедный и тесный, это большой грех... И не потому ли Господь прогневался и попустил быть мору? Какой-то доктор — а другие говорят, ксендз — выйдя из костела, разослал на земле свой плащ и бросил на него первые золотые монеты... Другие прихожане поспешили также внести пожертвования — и скоро на плаще выросла золотая горка... Как по мне, построили бы на те деньги госпиталь,

закупили хороших лекарств, провели водопровод, чтобы минчане не брали воду из этой помойной ямы — Немиги... Что ж, теперь я могла считать, что и наша семья внесла свой вклад в освященное место в виде фамильной броши...

Я бродила между могил и, наверное, сама напоминала призрак в тусклом ноябрьском дне. Ага, вот холмик, сплошь заваленный цветами... Портрет под стеклом, в деревянной рамке: такая наивная гимназисточка, с удивленно приподнятыми бровками, курносым носиком и приоткрытым ротиком, который, видимо, любил смеяться, и косами, уложенными на голове такими бубликами... Простоватое, наивное, очень обычное лицо. Не моей компании паненка, ясно. Каролина Мария Шиманская-Репка. Бедную, наверное, из-за этой "репки" дразнили в гимназии... Я представила, как Каролина-Мария лежит теперь вот здесь, в земле, в сшитом нами платье, с брошью в виде лилии на груди... Приобщенная к тем глубинам — или высотам — познания, от которых я, эпансипе и натуралистка, отделена каждой клеточка своего физического тела... Но заплатить за это познание тем, что лечь в эту сырую землю... Знаете, я не сентиментальное создание, но вдруг мне стало так жалко эту — пусть не очень интеллектуальную при жизни — девочку, что я горько расплакалась — по ней, по себе... По своей мученице-матери — не так много в ее жизни радостей и хороших воспоминаний, чтобы лишать дорогих сердцу мелочей. Что я ей объясню насчет броши-лилии? Подумать только — та лежит в каком-то метре от меня! Но недостижимее, чем была бы на луне. И я в отчаянии начала мысленно обращаться к незнакомой мне покойной... Представьте себе — просила ее вернуть мне ту брошь, объясняла, как будет переживать моя мать. Уговаривала осторожно, как уговаривают маленького ребенка, что схватил очень дорогую и очень хрупкую вещь... Я даже опустилась на колени... Не знаю, сколько времени прошло — я спохватилась, когда крупный кленовый лист, мокрый и холодный, словно ладонь утопленника, ударил меня по щеке. Я находилась в таком взвинченном состоянии, что готова была принять это за какой-то знак. Лист опустился прямо на букет дорогих оранжерейных фиалок, которые мерзли в белорусском ноябре, как восточные красавицы, и я потянулась отбросить от них желтого нахала. На земляной насыпи между цветами что-то блеснуло... Я раздвинула пестрые лепестки... И увидела брошь в виде лилии.

Сказать, что я была ошеломлена — не сказать ничего. Меня словно обдало ледяной водой, сердце оборвалось, будто я прыгнула с обрыва. Ну а вы, что бы вы подумали на моем месте? Никаких рациональных объяснений у меня не имелось. Просто покойная

услышала мою искреннюю просьбу и вернула памятный знак. Я дрожащими пальцами взяла брошь — да, это была она, булавка, конечно, расстегнута... Радость от неожиданной находки утопала в мистическом ужасе. А вдруг та, что вернула брошь, теперь здесь, рядом со мной? Я же так ее звала... Я непослушными губами произнесла "спасибо", поднялась и двинулась, вынуждая себя не бежать — она же может обидеться... Молиться... Спасет одно — искренне молиться... Закажу за Каролину Марию мессу... Чем ближе я подходила к воротам, к лишенной мистики суетной местечковой жизни, тем больше во мне вызревала признательность и еще что-то необыкновенно возвышенное, словно крылья росли... Не знаю, как дальше повернулась бы моя судьба — случаются мгновения, которые формируют человека, как руки хозяйки тесто, — если бы не случай... Который принял облик дурачка Генуся. Генуся знало все местечко. Худой и сутулый, будто вечно нес на себе мешок с мукой — Генуся временами, когда он был более-менее вменяем, брали на работу на мельницу. Рот приоткрыт, зубы торчат вперед, в глазах светлая муть, на носу вечная капля... Ну, что я описываю — вы сами должны знать, как выглядит классический местечковый дурачок... И вот этот Генусь подслеповатым ястребом бросился на меня... Вернее, на брошь-лилию, что я несла перед собой в руках, как пригоршню святой воды.

— Не твое! Не твое! Отдай! Воровка! Воровка! — верещал Генусь, пытаясь выхватить у меня явленное из свежей могилы украшение. Я увертывалась, как от шаловливого щенка, но... мистический ужас мой еще более усилился. Сразу полезли в голову легенды о юродивых да блаженных, наделенных даром пророчества... Чтобы отбросить наваждение, закричала первое, что пришло в голову:

— Сам вор!

Генусь неожиданно умолк, словно его ударили, перегнулся пополам и жалобно застонал... В его невнятных, как далекая майская зарница, словах я наконец увидела смысл, как в водовороте усматривают последний выход. Брошь забрал из гроба Каролины-Марии Генусь, поскольку бедняга был влюблен, как только может быть влюблен нищий дурачок в паненку из хорошей семьи. А положил на могилу или потому, что паненка стала ему являться в сновидениях, или кто-то сказал, что забирать что-то из гроба великий грех, а Генусь был слишком благочестив — этого я уже не разобрала точно... Я чуть сдержала истеричный смех. Подумайте только — если бы я случайно не встретила беднягу, у меня бы жизнь по-другому сложилась! И сегодня, возможно, была бы я какой-нибудь сестрой Гонорией, и перебирала бы четки вместо живых цветов... Я оставила брошь на

кладбище. Она уже была мертвой — даже вещи делаются мертвыми, касаясь смерти... И мать до сих пор думает, что ее драгоценность досталась счастливой невесте... Не собираюсь ее разуверять. Но... знаете... Иногда я жалею, что больше никогда не придется пережить то необычное ощущение, будто тайна вселенной лежит в моих ладонях.

Зося закончила рассказ и задумчиво смотрела на свои ладони, будто представляла в них брошь в виде лилии. Влад пожал плечами.

— Думаю, Серапионовы братья раскритиковали бы твою историю. Мало того, что никакой мистики, так еще и юмора не хватает. И не страшно, и не смешно.

Зося блеснула зелеными глазами — холодная молния.

— Страшат трусы, смешат неуверенные в себе... В моих очках нет ни розовых стекол, ни черных, да и вообще очков не имею. Принимаю жизнь, какая есть. Если вам не хватает театрального реквизита, поищите у кого другого.

Влад смутился.

— И все-таки так нельзя... Помнишь, в "Белорусской хатке" показывали батлейку? Последнего, может, батлейщика в Минске нашли... Куклы восстановили... Так "идейно правильная" часть зрителей начала горланить, что это пережитки и религиозная пропаганда, обидели бедного старичка-батлейщика, которого в свое время жандармы гоняли... Что же это будет, если мы откажемся от прекрасного, от игры, от карнавала? От историй о привидениях и драконах? Человека делает отличным от животного не то, что необходимо, а то, что излишнее... То, что не приносит очевидной пользы. Музыка, пение, поэзия, изысканные кованые узоры на балконе дворца, резные наличники на крестьянском доме, вышивка на рушнике...

— Встречный ветер эпохи сдует это, словно кружевную шляпку с барышни, что уселась на верхней площадке империала, — жестко возразил Ной, который все это время лепил из наплаканного погребальными свечами воска маленьких ящериц. — Малевич нарисовал свой черный квадрат — и это дверь, за которой начинается неизвестный, но единственно возможный путь вперед. Ничто не повторяется... Фараонов изображали только в профиль, в трагедиях не могли в качестве главных героев выступать слуги, женщины не имели права появляться на сцене... Кто теперь потребует того же?

Влад нахмурился, обычная ирония оставила его.

— Ты говоришь о прогрессе в искусстве, но мне мир, где царит черный квадрат, представляется устрашающим. Здания в виде огромных серых коробок с квадратами окон, песни все из одной бессмысленной фразы и примитивного ритма, и одна газета на всех, где объясняется, какие все счастливые... Знаешь, когда Платон придумывал свое идеальное государство, то хотел приблизительно такого же... Все должны были танцевать и петь, как они счастливы, а поэтов следовало убить.

— Знаете, если эта единственная газета и единственная песня будут на белорусском языке, я согласен и с таким печальным будущим, — задумчиво проговорил пан Белорецкий. — Но что-то мне подсказывает, что упрощенный до прямоугольника мир не вместит нашу прекрасную, до сей поры неизвестную белорусскую Атлантиду — она только начинает подниматься из мутных волн забвения, из-под всяких наносов... А тут не самобытность требуется, а универсальность... Палка вместо ветки...

— Вы просто... старый, — бросил Ной. — Вы не понимаете, что человечество идет к взаимопониманию — к единому языку.

— А природа — к одному цветку, одному дереву и одному кусту, — насмешливо произнес Белорецкий. — Либо появится вообще одно на весь мир растение: белый цветок-дерево-куст...

— А почему белый? — растерянно спросила Дорота.

— Потому что все цвета, смешавшись, образуют идеальную бель... Но в жизни редко случаются чистые цвета. Без примесей... Поэтому, я думаю, потенциальная идеальная природа будет серой.

Влад, видимо, вообразил это будущее, не выдержал и рассмеялся. От этого лицо его на мгновение потеряло всегдашнее насмешливо-снисходительное выражение — показался любопытный и дурашливо-наивный подросток... Дорота тоже робко улыбнулась, глядя на молодого артиста, как на освещенные солнцем невероятно легкие облачка, на которых представляется прекрасный замок вечного света и покоя... Пан Белорецкий задумчиво смотрел на девушку, на ее улыбку, и в стеклышках его очков прыгало пламя свечи.

— Старые мастера считали, что в основе красоты — извилистая линия... Любой прямой путь — неправда и искусственность. И не всегда то, что напрямую привлекает — предопределено тебе... Мы — всего лишь маленькие фонарики, которые висят на невидимой проволоке, протянутой через тьму. Каждый видит только сквозь собственный свет. И никто не видит проволоки, на котором мы висим... И только мудрый может вычислить — где заканчивается

проволока... И только наивный почувствует — кто ее привязал... Знаете историю с фонарями на празднике у графа Любанского?

— Нет, пан Андрей, — оживилась Дорота. — Расскажите — а то увязли в философии, словно школяры в вазочке с цукатами.

Чучело дракона глянуло на рассказчика черной пуговицей с желтой искрой в центре, и пан Белорецкий начал рассказ.

История о Лошицком призраке

Было это в один из моих приездов на родину лет пятнадцать назад. Еще жила моя жена, но уже не могла ездить со мной из-за болезни. Поэтому и настрой у меня был не очень... Но стопка выявленных рукописей семнадцатого века, еще одно стеклышко в разбитый витраж истории моей родины, могла побудить меня к путешествию даже в чистилище. Я не захотел злоупотреблять гостеприимством друзей и, поскольку мог себе позволить, снял приличный номер в отеле "Европа", как раз когда там начал выступать венский дамский оркестр. Как играет упомянутый оркестр, я так и не послушал, зато рукописи выкупил. Я уже собирался уезжать, окруженный ореолом древних букв и ароматом заплесневелой бумаги — лучшим в мире для книжного человека, — но получил приглашение на бал к графам Любанским. Фраза просто из колонки светской хроники... На самом деле я не был такой важной птицей, чтобы граф Любанский что-то обо мне знал. Так, профессор, но слишком молод, к тому же занимается таким подозрительным делом, как фольклористика... А там любая старинная песня способна обрушить очередную идеологическую башню, как чудо-рыба, всплывая, смывает со своей спины жалкие домишки временных приблудных жителей. Но все-таки я представлял Санкт-Петербургский университет, и у меня была Демидовская премия, а в Минске два года назад закрыли Общество любителей изящных искусств. Закрыли так, как делают всегда — безапелляционно, жестко, с красивой формулировкой — чтобы народ понял: невозможно было не разогнать этих злодеев, что пытались нарушить привычный порядок и вырвать из руки гимназистки бублик, а из руки нищего — суму. На празднике в честь дня рождения пани Ядвиги Любанской должен присутствовать губернатор города Мусин-Пушкин... И небольшая делегация местной творческой интеллигенции, усиленная мной, предполагала подойти к нему по поводу восстановления общества.

После недавних революционных событий, залитой кровью Курловского расстрела привокзальной площади у меня особых иллюзий на лояльность властей не было. К тому же мое настроение не подходило к балам. Но — я считал себя обязанным поддержать земляков. Да и пан Любанский слыл этаким эксцентричным демократом-аристократом. Ходили слухи, что он дает деньги эсерам. А его увлечение велосипедами... Велотрек, устроенный в Лошице... Изумительный сад...

И вот я стоял, прижатый к псевдо-мраморной колонне, обвитой псевдо-плющом Лошицкой усадьбы, оглушенный духовым оркестром и нашептываниями в самое ухо одного из организаторов исчезнувшего общества, и искренне грезил оказаться как можно дальше... Что мне до местных сплетен? Евстафий Любанский, дородный усач, действительно не скрывал влюбленности в свою юную жену. Ядвига, в девичестве —Киневич, была дочерью предводителя мозырского дворянства и лет на семнадцать моложе мужа. Белокожая, темноглазая, стройная... Двигалась, как ласка по снегу. Избалованный ребенок... Болтала, смеялась, гордо закидывая головку с аккуратно уложенными в высокую замысловатую прическу темными волосами. Мне пани Ядвига напомнила героиню стихотворения Мицкевича "Сыновья Будриса". Помните: бела, как сметана, черноглаза, подвижна, словно кошка. Пан Евстафий привез ей из Японии чудесное деревце — магнолию кобус, ее еще называют маньчжурским абрикосом. Она цветет раз в год. Подаренное деревце цвело именно в день рождения пани. Видимо, по этому случаю пани Любанская оделась во что-то пестро-экзотическое, что должно было по ее мнению передавать японский дух... Насчет любовников пани версий имелось — как насчет происхождения санскрита. Намекали мне и на самого губернатора, Мусина-Пушкина, и на графа Чапского, владельца знаменитых пивоварен... Смешно — они были намного старше пана Евстафия.

Я не очень вслушивался в так называемую "светскую болтовню", вспоминая свою Надежду, которая сейчас, наверное, грустно сидит у окна с видом на грязную Мойку... Кстати, ты, Дорота, очень напоминаешь мне мою Надежду... Те же большие задумчивые глаза, чистый высокий лоб, словно созданный для высоких мыслей... Но — я отвлекся. Между тем над Лошицей, как дым от тайного купальского костра, сгущался полумрак, и начался один из сюрпризов вечера — загорелись гирлянды электрических китайских фонариков, подвешенные на веранде и в саду. Пани Ядвига в своем пестром шелковом платье с широкими рукавами, как тропическая бабочка,

медленно поднялась на сейчас ярко освещенную круглую площадку с невысокой балюстрадой — на ней обычно играл оркестр. Пан Евстафий стоял неподалеку от меня — я заметил его взгляд, устремленный на жену. Бог ты мой, какая любовь! С почти кощунственным восторгом и непонятной тоской... Если на свете бывает такая любовь, мир никогда не закончится, и никогда не закончатся в нем боль и пролитая кровь.

Слуги вынесли экран из растянутой на шестах белой бумаги — наверное, дорогой сорт рисовой, — и поставили перед площадкой, так, что скрыли ее от глаз зрителей. Вдруг все фонари погасли, но в то же момент за экраном зажегся яркий софит... На белой поверхности экрана вырисовалась почти невероятно точная тень пани Ядвиги... Теперь пани держала в одной руке японский зонтик, в другой — веер, и изящно двигалась под музыку. Зрители захлопали в ладоши, приветствуя столь неожиданный театр теней. И снова зажглись фонари, и снова погасли...

Живые картины сменяли одна другую. Танцовщицы изгибались в экзотических фигурах танца, самураи дрались на мечах, "делали" себе харакири... Тьма сменялась светом, тени — красками. Зрелище очаровывало, так что даже я — до сих пор стыдно — на время забыл о той, что думала обо мне за сотни верст отсюда... И снова погасли фонарики... И на освещенном экране показалась очередная картина — поцелуй страсти... Человек в костюме самурая, плечистый и высокий, целовал жадно, властно... Кого? Да, это была пани Ядвига. Невозможно было спутать ее позу, прическу, сложное платье... Две тени, сливающиеся в одну, застыли на экране, и так же застыли зрители... Это была больше чем игра.

Зажегся свет... Экран убрали, понемногу снова начинались разговоры. Конечно, глаза всех — или тайно, или открыто — искали героев драмы... Пан Евстафий, однако, не выглядел потрясенным, он по-прежнему вежливо улыбался, время от времени подносил к губам бокал с вином... Может быть, он был посвящен в необычную мистификацию? Но когда Любанский обернулся, я увидел, как на его виске бьется жилка... Просто — висок, седой висок немолодого сильного мужчины. И тяжелая, упорная пульсация — словно изнутри хочет вырваться невероятной мощи безумие... И это зрелище почему-то ударило меня больше, чем если бы Любанский теперь совершал харакири, как герои театра теней. Я оглянулся. Пани Ядвига, по-прежнему веселая и озорная, прохаживалась между гостей. Зачем она это сделала? Я до сих пор не могу понять. Помучить старого мужа, который ее боготворил — как маленькие дети мучают родителей,

спрятавшись и долго не отзываясь на крики? Или хотела нащупать ту грань, за которой ее остановят — некоторым пресна жизнь без ощущения такого предела, без сопротивления и запрещенности... Или это было просто юное презрение ко всем запретам и предрассудкам, рожденное первой настоящей любовью? Но кто он, герой романа?

Я невольно обводил глазами толпу, выделяя молодых, высоких, красивых... Может, этот — в офицерском мундире, с завитыми кольцами усиками? Или вон тот, в белом сюртуке, похожий на античного бога со своими крутыми кудрями? Или... тот музыкант, стоящий в стороне от блестящей толпы, опустив скрипку, и в его позе — почти что презрение? Сколько таких любопытных взоров пересекалось в тот вечер в саду Лошицкой усадьбы... По крайней мере, дело возрождения Минского общества любителей изящных искусств интереса не вызвало ни у кого. Так называемый свет... Люди, жившие на этой земле, как пришельцы, не услышав ее, не попытавшись понять ее душу.

Я вернулся в гостиницу с досадным чувством коллекционера, которому досталась редкая ядовитая орхидея, но от нее погибли другие экземпляры. Да, все-таки белорусское слово "каханне" имеет более древнее происхождение, чем "любовь"... «Каханне» — это еще с санскрита. В этом слове откликается древность — языческие капища, жертвы, смерть... Боже ты мой...

Через два месяца я получил письмо из Минска — друг, который и заманил меня на злосчастный бал, рассказывал, как потрясла всех горожан смерть пани Ядвиги Любанской. Будто бы ночью пошла она почему-то к Свислочи, спустилась с крутого склона, села в лодку... А лодка перевернулась... Так и нашли пани назавтра в реке. Автор письма явно считал, что дело неладно. И непременно в нем замешан старый Любанский. Иначе зачем этот странный приказ сразу после похорон — замуровать окно в комнате пани Ядвиги? Тело приказал запаять в свинцовый гроб и поставить в Лошицкой часовне... И уехал сразу же на Кавказ...

Через год я опять таки случайно, из переписки узнал, что пан Евстафий на Кавказе умер... Но что мне было до чужих смертей, когда смерть стояла у изголовья близкого мне человека? Ах, Надежда моя, Надежда Романовна...

На родину я смог наведаться только года через три. Уже с черной лентой на рукаве и на сердце. Побывав недели две в родительском доме, в Игуменском уезде, выделил пару дней на пребывание в Минске. Почему-то потянуло меня в Лошицу. Я медленно шел аллеей, удивляясь толщине деревьев, особой тишине,

которая царит в этих местах, и думал о том, что, видимо, когда-то было здесь языческое капище — сколько я видел их остатки, всегда какая-то гнетущая атмосфера. Словно проклятые боги все еще ждут новой крови... Что на берегу Немиги в Минске, что на Девичьей горе в Виленском уезде, что здесь... Особенно, видимо, наводило на эту мысль сознание, что в глубине парка стоит часовня со свинцовым гробом пани Ядвиги Любанской.

Кусты цеплялись за мой пиджак отросшими ветвями. После смерти пана Евстафия на все здесь начала ложиться печать запустения.

Понемногу темнело... На Лошицких мельницах иногда, кажется, грабили... Но я не волновался: привык носить с собой револьвер, а извозчик, чернявый мужичок с произношением речицкого Полесья, должен был ждать у ворот хоть до утра — я не пожалел денег. Вдруг я остановился возле странного деревца — на его тоненьких, но даже на вид твердых, как железо, ветках, между редких плотных и темных листов светились белые цветы... Крупные, словно вырезанные из бумаги, в сумерках они казались неестественными. Словно приклеенные... Я даже потрогал лепестки — словно поздоровался за невесомую руку с Метлушкой. Внизу светлела медная табличка. Я пригнулся и разобрал надпись: "Магнолия кобус"... Так называемый "маньчжурский абрикос", который зацветает в день рождения пани Ядвиги Любанской! Словно наяву, я снова увидел декорации былой драмы: китайские фонарики, белая балюстрада, окруженная зеленью, бумажный экран, тени на нем... Насмешливый шепот и звон бокалов... Взгляды, взгляды... Жилка пульсирует на седом виске пана Евстафия Любанского...

Я поднял глаза на луну, которая под аккомпанемент моих грез успела всплыть из глубины вечера... На почти белом ее диске четко виделся силуэт... Женская фигура в платье с широкими рукавами, с высокой прической, с веером в руке... Да, настоящие привидения являются не по заказу. Сколько раз я мечтал хоть так же, тенью увидеть свое потерянное счастье — но тщетно... Я, христианин, завидовал Сигизмунду Августу, который использовал услуги чернокнижника Твардовского, чтобы вызвать призрак любимой... И никогда бы не побоялся схватить — пусть тень — в объятия... Только тот, кто дошел до предела отчаяния и даже заглянул туда, за грань, поймет меня. Но тут... Темный силуэт на луне... Я, конечно, попытался убедить себя, что это просто абстрактные пятна, из которых мое представление составляет фигуру. Многие же видят на луне зайца, или братьев Каина и Авеля... Я тряс головой, закрывал глаза, даже

нажал на глазное яблоко — все реальное должно на время расплываться, раздвоиться, а призрак — нет, ведь он же воспринимается не зрением, а больным воображением! Напрасно, все раздвоилось, расплылось.... И земля сдвинулась под моими ногами, прежде чем я осознал, что ухожу... Максимально быстро, чтобы не назвать это самому себе паническим бегством. Вот что значит чужие призраки... В Тавридском Гурзуфе меня водили к кипарису, в котором якобы живет дух Александра Пушкина. Кипарис растет под окном усадьбы Раевских, где гостил поэт и сочинял стихи, глядя на молодое деревце. И даже записал в дневнике о необычных дружеских чувствах, которые пробуждает в нем зеленый сосед, и оставил там же мистическое пророчество, что вернется сюда, чтобы созерцать божественные окрестности. В тени кипариса приезжим показывают два силуэта: Пушкин, кудрявый, с бакенбардами, обнимает барышню в старосветском платье... Так вот, тот кипарис вызвал у меня такие же мерзкие, тяжелые чувства, что и упомянутые места языческих капищ. Теперь к списку могу присоединить Лошицу и магнолию кобус.

Потом мне рассказывали, что силуэт пани Ядвиги можно увидеть в Лошице на фоне полной луны, только когда цветет это призрачное деревце. Еще — что призрак белой женщины видели над рекой в том месте, где утонула пани Ядвига, а кто-то наблюдал, как она прогуливается между деревьев, сидит возле часовни, в которой поставлен ее свинцовый гроб... Театр теней... А для меня мораль всей этой истории такая. Любовь-страсть — это от старозаветного... инстинктивного... Возможно, достаточно простой, спокойной любви-уважения? Разве вовсе не испытывала такой любви дочь мозырского дворянина Киневич к своему мужу? Если бы не ее избалованность — не погибли бы оба. Семнадцать лет — не самая большая разница... Да и... двадцать три, как, скажем, между мной и вами, уважаемая Дорота, — тоже немного. Главное, чтобы девушка была рассудительной и серьезной... А духовная общность, может, стоит страсти. Тем более в суровое неопределенное время... Как вы думаете, Дорота?

Пан Белорецкий уставился на дочь друга сквозь очки, и непроизнесенное словно слышалось в освещенном погребальными свечами воздухе. Девушка смутилась.

— Я... я не знаю. Мне кажется, что любовь стоит того, чтобы ждать ее... в ответ.

— А если не дождешься? — Андрей Белорецкий жалостливо улыбнулся. — Всю жизнь — наблюдать, как у ее очага греются

другие... А тебе — только отблеск... Разве не лучше — создать семью... С человеком, которого знаешь, которому веришь?

Ной почему нервно хохотнул, а Дорота перевела взгляд на Влада. Тот сразу отвел глаза...

— И все-таки — пусть уж хоть отсвет.

Эти слова Дорота почти прошептала. Зося фыркнула.

— Тоже мне, романтика... Революция победила — вот где романтика! Скоро семья как единица общества вообще исчезнет. А детей растить станут коммуной.

Пан Белорецкий даже перекрестился.

— Несчастные дети...

— Ты, Зося, еще вспомни теорию комиссара Александры Коллонтай о том, что удовлетворить похоть должно быть не сложнее, чем выпить стакан воды, — раздраженно сказала Дорота.

— Кстати, я недавно копался в архивах, а там чего только не встретишь. Так товарищ Коллонтай, похоже, из рода ополяченных белорусов Калантаёв, — задумчиво произнес Белорецкий. — Когда-то фамилия звучала как Карантай, от слова "короткий"... Мне иногда кажется, что белорусы вылеплены из воска — так легко принимают любые формы под солнцем времени, лишь бы не быть самими собой... Эх, действительно, как говорил один мой старший коллега – если бы кто приказал белорусу быть белорусом, не было бы лучшего белоруса... А так... Точно по словам Купалы:

“Там чутна: “Беларусь”, там – “Незалежнасць!”
А там – “Паўстань пракляццем…”. Ну а мы?
Мы ў страху… дум крутня… разбежнасць…
Без толку крыллем хлопаем, як цьмы”.

Одна из свечей замигала в последнем желании жить — и угасла, превратившись в грязную лужу воска. Мокрый ветер ударил в окно, так что остальные, еще живые, огоньки рванулись в сторону... Старый дом, стоя по деревянные колени в мартовской воде, заскрипел, тихонько зарыдал, словно в предчувствии смерти. Пятеро людей в нем замолчали, тоска отозвалась в их сердцах.

— Закончится наводнение, уйдем отсюда... И каждый из нас пойдет в свою сторону, — проговорил Ной. — И, возможно, никогда мы больше не встретимся, а может быть, кому-то будет лучше не встречаться...

— Что ты такое говоришь? — встревожилась Дорота.

— Он говорит правду, — мрачно пояснил Белорецкий. — Нам выпало жить во времена перемен. А это, согласно китайской пословице, наихудшая судьба. Никто еще не знает, где следует быть,

кто победит... Возможно, кто-то из вас будет управлять государством... Кто-то отопьет от отравленного кубка славы... А потом встретимся у одной стены — с выбоинами от пуль... И, возможно, у кого-то в руках будет револьвер, а у кого-то — пустота безнадежности.

— Ну, вы и наговорили здесь, дядя Андрей, — беззаботно рассмеялась Зося. — Даже дракон испугался... Подождите, мы еще пригласим вас на выставку Ноя...

— На которой будут твои портреты, Зося! Ты... ты позволишь мне нарисовать тебя? — Ной смотрел на девушку с такой тревогой и напряжением, как будто она, как дочь Жижеля, божества огня, теперь взмахнет ресницами, и огонь сожжет сердце.

— Рисуй, что мне, жалко... — ответила Зося преувеличенно равнодушным голосом. Но Ной не захотел услышать это равнодушие и с благодарностью коснулся руки красавицы — легко, как облачко... Но рука художника вздрогнула, будто он действительно коснулся огня...

— А вот мои благородные предки рисовальщиков считали дворней, — лениво сказал Влад. — Правда, лицедеев и шутов они считали еще более низким сословием — как в Индии каста неприкасаемых. Так что я в их глазах — изгой... выродок... Сильные люди, властители своего времени не любят вымысла. Недавно вычитал стихотворение какого-то начинающего поэта Куделько под названием "Пляски на кладбище":

"Хватит плакать и вам над Рогнедою,
Глянув в прошлое, тяжко вздыхать...
Новый день пусть вам сказку поведает,
Чью вы в песнях восхвалите стать".

Просто для нас совет.

Ной скривился.

— Ну, это только по молодости можно брякнуть... Этот Куделько под именем Михась Чарот сам романтических стихов насочинял. И ни одной власти не придет в голову, скажем, запахать кладбище или построить на могилах театр.

— Мы еще не знаем, на что способна эта власть, — пан Белорецкий поднял воротник сюртука, словно ему стало холодно. В окно ударил ветер, и дом затрещал, зашептались по его углам тени, будто поветник — страшная шестикрылая птица — обнаружил в хозяйстве упущение и сейчас грозит нерадивому хозяину. Влад тоже поежился, словно от северного ветра.

— Портрет свой не каждому можно доверить писать. Изображения, сделанные особенно тщательно, могут быть просто опасными для своих оригиналов...

— Что ты выдумываешь? — отозвался Ной. — Портрет Дориана Грея вспомнил?

Молодой артист отрицательно покачал головой.

— Да нет... Даже мой знакомый скульптор рассказывал, что когда снимает с кого гипсовую маску, то особенно чувствительным особам после этой процедуры плохо, словно после кровопускания. Попробуй сфотографировать или нарисовать индейца или бедуина — посчитает, что ты его убить хочешь... Вон в прошлом веке выловили в море невероятно красивую деревянную скульптуру, которая украшала когда-то нос корабля. На скульптуре нашли надпись: "Аталанта"... Пока довезли до берега — корабельный штурман застрелился от любви к этому куску древесины. Потом покончил с собой смотритель музея, в который ее поместили... Говорят, просиживал перед Аталантой дни и ночи, глаз не отрывая... Я сам знаю похожую историю — от отца.

Дорота поставила перед Владом новую чашку с чаем.

— Осторожно, кипяток. Ну вот, говорила же, не хватайся... обжегся, как маленький. Теперь тебе, Ной, налью. А пока, Влад, расскажи, пожалуйста, свою историю. Искусство и мистика лучше, чем политика.

Влад вновь коснулся горячего кубка кончиками пальцев, помолчал...

— Ну что ж, могу рассказать.

История о статуе из подвалов дома Ваньковичей.

Каждый минчанин знает, кто такие Ваньковичи. Инсургенты, масоны, авантюристы — как только о них не трепали языками недоброжелатели. Патриоты, воины, поэты и художники – говорили сторонники. Лет пять назад, во время бездомного блуждания в театрально-эсеровских мечтах, и мне, в числе других неимущих белорусов, довелось разжиться копейкой в "Учреждении взаимопомощи рода дворян Ваньковичей".

Конечно, прежде всего вспоминается великий Валентий, художник из этого рода, который рисовал Пушкина и Мицкевича и умер на руках последнего в Париже... Белорусскоязычные стихи Мицкевича уничтожили родственники. Картины Валентия Ваньковича развезли по миру... И белорусы снова ни при чем, как дуб

к желудю. Так вот, более полувека прошло со времени очередного восстания против империи, в котором, конечно, принимали участие и Ваньковичи. Особенно выделялся сын Валентия Ваньковича Ян Эдвард. Работал он лесничим, имел усадьбу в Слепянке. Но враги знали его как инсургента по кличке Лелива, и кто, как не лесничий, мог сделать свой отряд невидимым в пуще? И всадник был он такой, что напоминал кентавра... Именно это одной ноябрьской ночью — хоть глаз выколи — спасло его от погони. Но не от тяжелой раны... Лесничий упал с лошади на одной из окраинных улочек Минска — что ж, на каждого есть его пуля, и вероятность встречи с ней не больше просчитана, чем встреча с настоящей любовью. Лошадь, ошалев от долгого галопа, не остановилась, потеряв седока... Ян Эдвард тщетно пытался что-то рассмотреть в непроглядной, как саван, темноте, прошитой холодными нитями дождя. Мертвый сон города. Ни фонаря, ни даже огонька лампады... Вот, кажется, каменное крыльцо какого дома. Но двери нет — стена... Найдет ли раненный инсургент приют, или отсюда начнется его путь к петле? Ян чувствовал, что истекает кровью. Хоть немного бы света... В этом городе были дома, стучаться в которые Ванькович не хотел даже умирая. Огниво инсургент всегда имеет при себе... Слабый огонек осветил каменную стену в темных потеках, окно с закрытыми ставнями... Кажется, угол Францисканской? Огонь мрачно отражался в темной лужице, образовавшейся возле раненого плеча... Яну показалось, что сама ночь качнулась перед глазами, как отражение на поверхности бездонного омута... Как он ослаб... Не заметил сразу... Вот же — дверь. Последним усилием инсургент ударил в нее... Перед тем, как потерять сознание, показалось: дверь распахнулась, из нее потянуло странным запахом — как будто открылся старый-старый сундук...

Раненый пришел в себя в постели — огромной, как Грюнвальдское поле, и твердой, как земля того поля. Резные колонны из черного дерева, которые должны были поддерживать исчезнувший балдахин, ужасно напоминали колонны усыпальницы. И комната была большой, пустой и темной. Из щелей ставень пробивался туманный свет. И словно из этого света к кровати приблизилась фигура. Ян увидел бледное красивое лицо, большие глаза, грустные-грустные, аж сердце защемило от боли, что в них отражалась... Потом Ванькович так и не смог вспомнить, во что была одета девушка — но точно, что в черное, и даже звук ее голоса исчез из памяти — хотя они разговаривали... Много раз он пытался ее нарисовать — всегда имел при себе блокнот с карандашом. Корона темных кос над высоким белым лбом... Горько поджатые губы, нос с точеной горбинкой,

изломанные брови. Глаза светло-серые... Один уголок рта чуть приподнят, и от этого выражение лица непонятное: сочувствие? Насмешка? Ванькович не узнал ни имени паненки, ни кто она. Хотя поступку незнакомки не удивился — многие шляхтянки устраивали лазареты для повстанцев в своих имениях, носили траур по погибшим, хотя это специально запрещалось, и по личному приказу минского губернатора за появление на людях в черном платье надлежало заплатить штраф в 50 рублей серебром.

Шли дни, а Ян все никого не видел, кроме своей таинственной хозяйки. Понемногу он начал вставать, ходить по комнатам — все темные, пустынные. Пытался открыть хотя бы одно окно — но то ли он так ослаб, то ли ставни были совершенно неподвижны от старости... Что ж, нельзя упрекать за предосторожности тех, кто рискует жизнью ради благородного дела. Возможно, дом считался заброшенным, и не стоило, чтобы случайный прохожий заметил, что в нем кто-то живет. Правда, здание, видимо, находилось совсем на отшибе — из-за окон и вечно влажных стен не доносилось ни единого звука, как в могилу. Но жандармы проверяли даже заброшенные дома...

— Только кровь и огонь открывают двери этого дома, — успокоила хозяйка, и Ян в очередной раз утонул в ее огромных глазах цвета серого мартовского неба. Так, хозяйка не ошибается — враг сюда не войдет, не пролив крови. Оружие при инсургенте. Сабля, украшенная единственным, но зато огромным бриллиантом — наследие прадеда. И пистолет, правда, без патронов... Но Ян почему-то был уверен, что в этом доме найдутся и порох, и пули... Откуда-то же брались на столе хлеб и вино, и другие нехитрые блюда, вкуса которых тоже не помнил. Беседы между гостем и хозяйкой напоминали весенние ручьи — то прячутся под снегом, то снова блестят на солнце, то приостанавливаются, тяжело перекатывая камешки. Ян рассказал о себе все... И о первой несчастной любви, и свою мечту повторить славу отца — стать художником... О лемпарде, последнем в этих краях, который однажды попал на прицел Янова ружья — но охотник так и не решился нажать на курок, и позволил лесному великану с пятнистым желтым мехом, старому, но все еще грозному — уйти, чтобы встретить смерть, достойную последнего из рода, смерть на свободе. И о лесных птицах с синими перьями, что прячутся в зарослях боярышника и кричат голосами младенцев, о русалках, что качаются на сплетенных ветках березы, и следует положить под деревом борону — русалка запутается в ней волосами и будет тебе служить... Когда-то Ян хотел поймать такую... Но — зачем

пойманная любовь? Разве ее сравнишь с такой — которая рождается сейчас в его груди, вызревает, как жемчужина в своей ракушке, от первой песчинки, причинившей непрерывную боль, и обрастает, медленно и неизбежно, все новыми слоями перламутра, увеличивается и сияет, и все больше бередит душу и болит...

Ян и хозяйка молча бродили по полутемным комнатам. Их медленные движения напоминали старинный придворный танец — без прикосновений рук, с взаимными церемонными поклонами, с тайным огнем — по крайней мере, в груди Яна он пылал... Как пылал фонарь в его руке, когда по крутым темным ступеням они с хозяйкой спустились в подземелье дома. Об этом попросил Ян — ведь подземелья были и под домом его предков на Волоцкой, у минской Соборной площади. Они существовали еще до того, как Ваньковичи построили свой дом, и где заканчивались — никто до сих пор не изведал. Говорили, что земля под всем центром города — как муравейник... Что ж, Ваньковичи пользовались своими подземельями неоднократно... Темными узкими ходами пробирались на тайные свидания с другими заговорщиками, убегали из осады, прятали там оружие... Но здесь, в этом доме, подземелья выглядели иначе. Высокий потолок, посередине — толстая каменная колонна... Хозяйка обняла ее, приложилась к камню лбом:

— Послушай...

Ян тоже прислонился к колонне с другой стороны. Глухой звук — будто под землей кто-то бил огромным молотом по огромной наковальне, и от ударов вздрагивали даже каменный пол и колонна.

— В каждом городе есть такое место, — тихо проговорила хозяйка. — Сердце города... Возможно, это великан Менеск все еще крутит свои жернова и перемалывает камни — иначе они будут расти и заполнят всю землю. А может, это бьют источники — кровь земли. Выпусти ее вконец — и земля умрет. А может, это барабаны, которые созывают подземную стражу — знаешь, под каждым городом есть своя подземная стража?

— Я знаю только одно — я люблю тебя, — прошептал Ян и осторожно положил ладонь на руку хозяйки, прижатую к камню колонны. Какие холодные пальцы... Тонкие брови пани изогнулись, будто от недоверия.

— Это подземелье помнит историю одной страстной любви...

Красавица отошла от колонны и начала рассказ тем же тихим голосом, как будто кто-то мог подслушать.

— История, старая, как мир... Здесь жил купец с тремя дочерьми. Две родные, одна приемная. К барышням взяли

гувернанта. Никто не подумал о том, что молодой человек слишком хорош для того, чтобы брать его в дом, где живут девушки. Все три девицы стали мечтать об одном юноше. Любовь досталось только одной из них, неродной. Старшие узнали, что сестра сговорилась бежать с любимым. Они связали счастливицу шелковыми шарфами, заперли в этом подвале и побежали за отцом. И как раз случилось наводнение. Свислочь разлилась... Подземелье затопило. Вот и все... Когда жених, тщетно прождав, пришел сюда и увидел труп, плавающий в темной воде... Нравы тогда были еще более дикими, чем сейчас. Он убил обеих сестер — убил кинжалом мизерекордия, специальным кинжалом, которым добивали поваленных рыцарей в щель между латами и шлемом. А потом повесился. Также здесь, в подвале. Страшно и банально, правда?

Непонятная улыбка тронула тонкие губы девушки. Ян потянулся к ней... И снова мир расплылся в его глазах... Ванькович очнулся только в постели — как она, бедная, его сюда притащила из подвала? Может, в доме есть еще кто?

Но проверить не получалось. После своего признания Ян ослаб... С трудом поднимался, чтобы пройтись по комнате... Зато теперь каждый вечер к его кровати подходила хозяйка, чтобы поцеловать в лоб. После этого наступал тяжелый сон... Тяжелый — ведь все больше бередила мысль о том, что делается там, за закрытыми ставнями. Как он мог на такое время забыть о своем долге перед отечеством, перед товарищами? Сообщила ли хозяйка им, что он жив? Чем дальше, тем все более сомнения заполняли Яна, и к его любви примешивался яд. Он любил — и боялся этой бледной красавицы, все больше боялся прикосновения ее губ к своему горячему лбу. В ночном бреду призрачные водоросли оплетали его, он захлебывался в воде. Нет, так дальше невыносимо. В конце концов, он из рода тех, кто не изменял родине даже ради любви. Только бы открыть дверь... Все чаще приходила страшная мысль: это плен... Неужели он попал прямо в руки тех, с кем боролся? Но ведь она спасла ему жизнь... Теперь она должна его отпустить! Все равно он вернется — как возвращается посаженный на цепь зверь... На все расспросы и просьбы ответ — блуждающая улыбка, поцелуй... А когда настаивал — ее лицо по-детски морщилось, из горла вырывалось жалобное рыдание... А глаза снова наполнялись болью. Так что делалось стыдно за недоверие. А потом — снова охватывал ужас, что это — навсегда... Эти полутемные комнаты, путаные речи, осторожные шаги... У Яна не было сил даже возвысить голос. Рана уже зажила, а у него все еще ощущение, что теряет кровь... И еще...

Только теперь Ян осознал, что в доме нет икон. Только распятие — простое, из черного дерева — над дверью, навсегда, возможно, закрытой для гостя. Как она говорила? Эту дверь открывают только кровь и огонь? Может быть, в этих словах совсем другой смысл? Крови, когда Ян попал сюда, было достаточно... И он же тогда, когда упал на мостовую, зажег огонь перед стеной, в которой — возможно, и правда! — не имелось двери!

Когда девушка пришла поцеловать его перед сном, Ян сделал вид, что крепко спит, уткнув лицо в подушку. Хозяйка долго стояла над ним, Ян чувствовал ее пристальный взгляд. Дыхание у того, кто спит, ровное и глубокое. Только бы не сдвинуться, не вздохнуть прерывисто... Еще немного — и не выдержит... Но почти беззвучные шаги отдалились от кровати. Ян выждал еще немного и поднялся. Почему все-таки она, если была врагом, не спрятала его саблю?

Перед дверью без засовов, без отверстия для ключа, Ян высек огонь... Листок, вырванный из блокнота, с очередным нарисованным карандашом образом хозяйки дома, съежился, потемнел... Лепестки огня шевелили его на полу, словно жадные жуки. Пора... Ванькович обнажил левую руку до локтя и полоснул саблей. Огонь и кровь! За спиной послышалось что-то вроде тонкого жалобного плача. Дверь не открылась, но словно стала прозрачной, как болотный туман. И Ян рванулся туда...

Он упал на мостовую перед крыльцом опустевшего дома. Тусклое утро поздней осени показалось его отвыкшим от света глазам ослепительным, как солнце. Где-то процокали копыта... Видимо, извозчики начали работу. Заплакал ребенок... Ему отозвался сердитый заспанный женский голос. Лесничий поднялся. Да, это был его мир, его город, его горе... И его долг. Сколько он пропустил? Неделю жизни? Месяц? Или пролетели годы?

Он даже не оглянулся на таинственный дом. Как не оглядываются на готового выстрелить в спину бывшего друга.

Восстание утопало в крови. Империя не хотела уступать и наименьшую часть своей власти. Поэтому душила всех последовательно и беспощадно. Повстанческий командир Лелива снова стал грозой врагов. Но надо ли объяснять, что бледное лицо незнакомки виделось ему и во сне, и наяву, и ни одна женщина не могла даже немного уподобиться ей. Это была слабость — но иногда Яну делалось так больно, что он жалел, почему навсегда не остался в доме на Францисканской. Ну, о подвигах живописать не стану... Я не имею способностей баталиста. Отряд Яна дрался на Подляшье и на Брестчине... Его снова ранили, и некоторое время он скрывался в

подвалах минского имения Ваньковичей — инсургенты решили, что наименее искать будут на виду. Болела рана на плече, но сильнее болела рана невидимая. Каждый вечер, когда Ванькович ложился в постель, ему казалось, что над ним склоняется тонкая фигура, и холодные губы трогают лоб. Почему она не оставит его в покое? Там, в подвалах родового дома, Ян и высек красивую мраморную статую. Кого она изображала — понятно... Статуя не предназначалась для чужих глаз. Ян похоронил ее там же, в подвалах. Прочитал над ней молитву... И словно почувствовал себя освобожденным. Потом с помощью писательницы Элизы Ожешко, с которой долго дружил, уехал за границу. Еще повоевал в Галиции, потом перебрался в Париж. Российские власти забрали поместье в Слепянке, во время обыска исчезло самое ценное — портрет Александра Пушкина кисти отца Яна, Валентия Ваньковича. Портрет, которым так восхищались современники... Возможно, он до сих пор украшает кабинет какого-либо жандармского чиновника. Ян Ванькович дожил почти до нашего столетия. Не знаю, тревожил ли его призрак прекрасной девы из дома на Францисканской, но мраморная статуя до сих пор — в подвалах дома Ваньковичей. И я не хотел бы быть тем, кто ее выкопает. Ну а дом на Францисканской, спросите вы... Есть, почему нет. И крыльцо имеется перед глухой стеной. Но дом совсем не заброшен — на первом этаже четыре крохотных магазинчика: табак, зелень, канцелярские принадлежности и изделия из жести. На втором этаже ютятся семьи хозяев, как семечки в перезрелой тыкве. Белье развешано на веревках, протянутых от окна к окну, дети ревут, бабы верещат. В подвалах — склады: бочки, ящики, Джомолунгма ведер и жестяных тазиков... История о купце и его трех дочерей подтверждается городской хроникой. Но обитатели дома явно в привидений не верят. Конечно, никто из них не пытался открыть несуществующие двери огнем и кровью... Да я тоже пробовать не буду.

Влад замолчал, и в тишине все услышали треск — догорала еще одна свеча, и огонек фитиля тронул влажную поверхность стола. Дорота быстренько задула умирающий огонь. Пан Белорецкий нарушил молчание.

— Сегодняшние декаденты страшно любят истории о вампирах и ламиях.

— И правда, — заметил Ной.— У нас на выставки приходила одна художница-акварелистка, которая распускала о себе слухи, будто она вампирша. Придет — страх смотреть: с набеленным лицом,

обведенными черным глазами и браслетом на ноге, а клыки напильником заострены... Чтобы эти клыки все видели, она все время поднимала верхнюю губу, как побитая кошка. А на губах — красная краска. А началось все с того, что какой шлемизул вякнул ей насчет особенно пикантной бледности ее лица... Мне рассказывали, когда она целовалась, то обязательно до крови.

Все расхохотались.

— Признайся, на себе попробовал? — спросил Влад. Ной покрутил головой.

— Знаешь, у меня все-таки есть какой-то... художественный вкус.

— Короче, тебе нравятся другие, — отметил Влад неожиданно мрачно, и временные обитатели дома посреди наводнения замолчали, будто было сказано что-то опасное. — Что ж, моя мать говорила, что любовь — это танец... Сложный танец двоих, где почти невозможно сохранить равновесие — один делает шаг вперед, другой на шаг отступает... Один склоняется, второй выпрямляется... Потом наоборот... Неверное движение — и все нарушено, тени разошлись, маски слетели на паркет, красное конфетти сердец хрустит под каблуками.

— Я вообразила средневековую паванну, которую мы танцевали на вечеринке... — тихо проговорила Дорота. — Паванна на смерть инфанты — так, кажется, это называлось?

Влад, будто отгоняя тоску, тряхнул густыми волосами, вскочил и склонился в танцевальном па перед Доротой.

— Паванна!

— А как же без музыки? — возразила Зося. Но Дорота поднялась, и начался удивительный танец — в тишине, в темной комнате, в мерцании свечей... Медленно, чинно... Один за другим все, даже Андрей Белорецкий, присоединялись к этим пляскам, словно к похоронной процессии... Никто не улыбался, не говорил, не пробовал напеть мотив, только движения сливались в едином ритме. Настала часть паванны, которая называется каприоль, когда танцоры имитируют скачку лошадей. Тени все быстрее скользили по стенам, люди склонялись и выпрямлялись, менялись партнерами... Дыхание учащалось... Руки не спешили прерывать прикосновение к рукам...

Если не можешь сказать — танцуй...

Если невозможно кричать — танцуй...

Если рядом смерть — танцуй... Как танцуют облака и огонь, как танцует сама земля в объятиях ветра...

Влад схватил Зосю, пан Белорецкий задержал руку побледневшей Доротеи в своей руке...

Стук в дверь прервал шум дождя и остановил безумный танец.

Незваных гостей было трое. Они вошли вместе с дождем, ветром и тревогой. Вода стекала по остроконечной шапке-шлеме главного. Молодое лицо, широкое в скулах, светлые прямые брови и взгляд человека, который не сомневается, как не создано сомневаться ружью за его плечами. Двое других, один в крестьянской свитке, второй в солдатском мундире со споротыми нашивками, держали ружья наготове, и на лицах у них только настороженность и боязнь... Смесь, которая делает людей убийцами.

— Больше в доме никого нет?

Зося подскочила к пришельцу, зарумянившись.

— Привет, товарищ Александр.

Гость едва заметно кивнул головой.

— Добрый вечер, товарищ Зося. Ты здесь... забавляешься, смотрю.

Андрей Белорецкий вдруг рассмеялся. Нехорошо рассмеялся, сухо.

— Молодец, девочка. Будешь комиссаршей.

Зося с досадой оглянулась.

— Ну зачем вы так, пан Белорецкий.

— А у вас, господин, кстати, документы есть? — сейчас же холодно откликнулся Александр, и фольклорист поежился, как ступив босиком в холодную воду.

— Если вам не противно — то покажу свой паспорт еще царской России, — Белорецкий порылся в карманах пиджака, и на свет появилась скомканная бумажка. Но пришельцы даже не прикоснулись к ней.

Александр обвел светлыми глазами комнату.

— У вас тут уютненько... Даже свечи есть. Вон сколько... А в городе по карточкам свечи получают.

— Буржуи... — проворчал человек в солдатской шинели. — У них здесь неизвестно чего припрятано.

— Завтра национализируем, оприходуем, — равнодушно произнес Александр. Зося бросила быстрый виноватый взгляд на подругу, но Дорота молчала, опустив голову.

— А вот есть ли здесь принадлежащие к контрреволюционной организации социал-революционеров? — гости крепче взялись за ружья, наступило молчание. Дорота вскинула голову.

— Здесь нет политиков. Мы просто... рассказывали сказки.

— Ну да, — подтвердила Зося, — Пан Белорецкий — профессор, он изучает фольклор... Обряды всякие, легенды. Песни народные. Этот парень, Ной — художник, очень талантливый. Дорота — учительница, как и я, только я естественные науки преподаю, а она — языки. А Влад — артист...

— Артист, говоришь? — Александр кивнул головой в сторону Влада. — А разве не ты говорила, что он эсер?

— Неправда! — голос Зоси дрогнул и стал тонким, как стебелек льна. — Как ты можешь, Саша... Я тебе доверилась... Это же между нами двумя речь велась. Рассказывала шутя... я же не думала... И не эсер он давно... Так, чудак, бродяга...

— А революция шуток не любит, — пришелец начал, похоже, веселиться. — Не сцы, Зойка, врагов надо истреблять, тогда и заживем в лимонаде, — и повернулся к Владу. — Ну, ты, руки подними...

Двое наставили на Влада свои ружья, звякнули затворы, как могильные лопаты о крышку гроба. Влад медленно поднял руки. На его бледных щеках вспыхнули красные пятна. На Зосю он старался не смотреть. А та отчаянно кричала, дергая знакомого за рукав.

— Саша, Сашенька, ну пойми же... Это ошибка. Это все друзья. Белорусы. Талантливые, честные... Республике они нужны. Ну пусть они... твои... опустят ружья... Как же мне дальше жить — с таким...

На последних словах голос девушки сорвался на шепот. Александр властно обнял ее, встряхнул.

— Какая ты еще... несознательная. Врага разоблачить — не стыд. Врага разоблачить — почетно. А свидетели мешают, это я понимаю... Ну я же сказал, не сцы, девка, я все устрою. Свидетелей никаких не будет.

И повернулся к оцепеневшим людям.

— Всем — на выход!

— Так лодка только одна, командир! — прохрипел гость в крестьянской свитке. Его горло обматывал грязный шарф, сделанный, похоже, из церковной парчи. — В лодку только пятеро сядут.

Александр пожал плечами.

— Значит, остальные сами поплывут. Ну...

И мгновенно, как бросок летучей мыши, выхватил из кармана револьвер.

Зося попыталась отвести его руку.

— Сашенька, не надо!

— С ними хочешь? Дура! Они — буржуи. А ты — пролетарка. Выбирай, с революцией ты или нет?

Зося растерянно молчала, прерывисто всхлипывая.

— Была одна история на берегу Свислочи, — сквозь зубы проговорил Белорецкий. — Подрались из-за красотки два шляхтича... Истекают кровью, один другому и говорит: "Что же мы, оба умрем, а даме нашей одинокой жить... Пошли, пока на ногах, к ней — пусть выберет, кому умереть. А второй перевяжет свои раны и познает счастье". Пришли к дому паненки, алым путь поливая — а из ее окна третий, счастливый, вылезает... Короче, умерли все, — не совсем логично завершил рассказ пан Андрей.

— Жаль, я не нарисую тебя, Зося, — тихо проговорил Ной и улыбнулся. — Из-за меня можешь не мучиться совестью. Ты не виновата.

И шагнул к двери...

— Подожди, Ной! — Зося пыталась успокоиться. — Хорошо. Хорошо, Саша. Я все поняла. Да. Это честь. Я не стыжусь свидетелей. Пусть они остаются. Забери только того, кто вам нужен.

Александр широко улыбнулся.

— Похоже, нам нужны все. Что-то слишком подозрительные у тебя друзья, Зойка. Конечно, девкой полна улица, но женой полна только печь, в дом с улицей не заходят. Открывай дверь, кудрявый! Чего стал!

— Эту дверь открывают только огонь и кровь, — проговорил Влад, рванулся и, падая, сбросил на пол похоронные свечи. Выстрелы, визг... Огонь побежал по скатерти, по портьерам... Загорелись старые газеты, разбросанные как попало по полу... А потом пролилась кровь...

И двери открылись.

Для каждого — свои.

...Красный карбункул светился в черных холодных волнах, только что освобожденных из-подо льда. Художник смотрел с моста в Свислочь. Обрывки газеты белыми бабочками кружили над водой, опускались на волны. Самое место для несправедливых слов. А начиналось все так хорошо... Персональная выставка, заказ на росписи для Дома крестьянина... Абстракционизм — рука империализма. Выкормыш, выродок, враг... Слова лишались нормального смысла. Боже мой, ну почему он не может рисовать, как все — портреты вождей, счастливых колхозников, стахановцев... Пытался же — не так, слишком тревожно, слишком сложно... Картины, наверное, уже вывезли из мастерской. Интересно, разберут по дачам или сожгут? А куда вывезут его, их создателя? Самое страшное — это уже он знал — заступаться и даже сочувствовать

никто не станет. Он сам еще недавно убеждал себя, когда узнавал об арестах знакомых: этот, недотепа, наделал ошибок... А тот, пожалуй, и правда замаскировавшийся враг. А этот, ясно, невиновен. Но — разберутся без нас, выкрутится, оправдается. Теперь пришли за ним. Карбункул светился сквозь волны. Самое время попробовать достать...

Блестящий зал дома профсоюзов взорвался аплодисментами. Директор образцовой детской воспитательной колонии, стройная, с коротко стриженными рыжими волосами уходила с трибуны, широко улыбаясь. Доклад был хороший. Правильный доклад. Но дела двух пятиклассников вчера исчезли. Бедные Полинка и Алесь. Дети врага народа. Она, искупая давнишнюю ошибку юности, спасала таких детей, как могла. Чем они виноваты? Меняла фамилии, переправляла года рождения. Учила, как отвечать: сирота, родителей не помню... Заместитель по комсомольской работе, недавно присланная с Урала, вчера на что-то намекала — пронюхала, паразитка. Что ж, рано или поздно...

Человек в телогрейке, с измученным черным лицом, сидел на деревянной вокзальной скамейке, сплошь изрезанной ножиками. Худой узелок лежал у ног, обутых в привидения прежних ботинок — перевязанные веревочками, дырки заткнуты газетами.

— А что это, гражданин, у вас за газетка торчит?

Человек привычно послушно поднялся, руки сами сложились за спиной. Один из патрульных наклонился. Дернул за край бумаги, что показывался из ботинка незнакомца.

— Ты... ты это что? Портрет товарища Берии поганить? А ну, документы!

Человек дрожащей рукой достал из-за пазухи бумажки.

— А-га, возвращаемся из мест дальних. Освобожден за активное участие в агитбригаде. Артист, значит... Командирован в Витебский театр... Кто это у вас такой добренький в начальниках? Разберемся, гнида! А ну, пошел...

— Эта реформа правописания не соответствует самой природе нашего языка, — голос заведующей кафедрой, сухопарой женщины с рано поседевшими, когда-то черными, косами, уложенными короной, был тихий, ровный, совсем лишен эмоций. Но присутствующих охватывал ужас, как будто она истошно кричала. — Приближение к русскому языку — не тот путь, на котором наша национальная культура может полностью раскрыться. Ведь каждый язык — живой

организм, который развивается по своим законам, и культурный человек должен беречь все языки мира, не давать им исчезать и терять самобытность. Тем более мы, белорусы, должны гордиться своим языком, на котором писались Статут Великого княжества Литовского и предисловия Скорины, и хранить его.

Два молодых преподавателя, бросая друг на друга настороженные взгляды, торопливо записывали слова кураторши. Один из них должен был успеть доложить куда следует первым, и тем спастись.

Над вересковой пустошью горела острая звезда, тени Дикой Охоты скользили над землей... Андрей Белорецкий подавил крик и бросился бежать в валежник, что темнел рядом. Теперь он не мог бегать так быстро, как в молодости. Да и глаза, ослабевшие от работы над неразборчивым почерком средневековых переписчиков, даже луну видели в виде светлого расплывчатого пятна – словно накрахмаленный чепец заброшен в печку. Дом на Плебанских мельницах становился грустным преданием, превращаясь в пепел.

— Стой, гад! — выстрелы за спиной уже не беспокоили. Светлое белорусское будущее было здесь.

2006

СТАРОСВЕТСКИЕ МИФЫ ГОРОДА Б*

АРТЕМИДА И АКТЕОН

Прекрасный юноша Актеон случайно увидел, как купается девственная богиня Артемида. Разгневанная богиня превратила юношу в оленя, и его загрызли собственные собаки...
(Древнегреческий миф)

В городе Б* были женщины, которые не вышли замуж потому, что им не повезло.

Были там и женщины, которые не вышли замуж потому, что слишком много хотели от будущего избранника.

Изредка встречались в городе Б* и такие женщины, которые не выходили замуж из-за принципа.

А были и такие, что оставались в девицах по всем трем причинам: сначала не везло, потом много хотели и завершили принципом. А последний, как известно, хотя и может служить опорой для слабой женской натуры, но его не обуешь в уютные домашние тапочки , не накормишь пирожками с капустой и не расскажешь, какой страшный сон тебе сегодня приснился.

Панна Констанция, владелица богатой родовой усадьбы на окраине города Б*, неподалеку от развалин старого замка — когда-то он, по слухам, также принадлежал предкам панны Констанции, уважала свои принципы, хотя и не окончательно разочаровалась в окружающем несовершенном мире. Но мир вместо благодарности назвал ее старой девой, сплетницей и настоящей фурией. Что ж, справедливости от города Б* ждать не приходилось!

Панна Констанция горько поджала губы и тронула ногой теплую темную воду приусадебного пруда... Простите, Лебединого озера. Его выкопали по приказу панны в романтичном месте, под густыми кронами старых деревьев, и даже пустили на зеркальную поверхность лебедя. Но неблагодарная птица почему-то пыталась улететь из отведенного ей прелестного уголка, и даже после того, как ей подрезали крылья, скрылась-таки оттуда... Брезгливые расспросы панны подтвердили догадку, основанную на жизненном опыте: лебедь был мужского пола, значит, коварство у него в крови.

Панна Констанция любила плавать в своем Лебедином озере по ночам, в призрачном свете луны, защищенная от чужого любопытства густой сенью деревьев, высокой оградой панского парка и строжайшей дисциплиной в среде панской прислуги. Нежно

плескалась вода, голова паненки скользила меж лилий и кувшинок, и — конечно же! — вились над этой головкой сладкие мечты и воспоминания. Когда-то, давным-давно, в пору цветенья садов и озорных ветерков... Да мало ли что может вспомнить голая паненка ночью в пруду?..

Таинственность и одиночество... Но мы не будем утверждать, что во время этих почти сакральных водных процедур не чудился паненке чей-то горящий взгляд в зарослях вокруг озера...

Эта ночь была особенно таинственной. Зверобой заговорщицки подмигивал пятнистыми желтенькими цветочками, пронзительно пахла душица, к самой воде сбегала блестящая, как фальшивый золотой, куриная слепота. Лягушка, маленькая, плоская , словно пустой кошелек, робко подала голос — панна Констанция ненавидела лягушек и приказывала их вылавливать и уничтожать. Тощий комар сел на пышное бедро панны Констанции. Шлеп! И комариная душа улетела в далекий комариный рай... Нет, скорее в ад — единый для всех кровососов. Панна Констанция бросилась в обьятия лунной воды...

...Чаратила приподнял тяжелую голову, в которой все еще пиликала скрипочка корчемного музыканта Гирша, чтобы поглядеть на огромную утку, которая плюхулась в панский пруд. Действительно, по воде двигалось что-то темное, от него шли круги, как от лодки... Чаратила еще помнил деликатесный вкус пойманного тут и зажаренного на лесном костре лебедя... Непрошенный гость приподнялся над кустами... Затрещали ветки...

Хведька Чаратила знал женщин. Да и из семинарии выгнали Хведьку именно за амурные дела. Тем более что обращался Хведька с женщинами так же просто, как с четвертинками водки. Можно даже смело утверждать, что Хведька видел женщин как в одежде, так и без. И мы можем сделать скидку только на то обстоятельство, что Хведька был по обыкновению пьян и поэтому не распознал, что за существо ринулось на него из черного панского пруда, белое, большое, бесформенное.... На физиономии существа Чаратила разглядел только два черных провала на месте глаз да третий, круглый черный провал — это не мог быть рот — ведь из человеческого рта не могут вылетать такие звуки...

Маленькая плоская лягушка издохла в одно мгновение — ее и без того испуганное сердце не перенесло клича оскорбленной девственности.

Чаратила перекрестился. Чаратила пообещал Пресвятой Богородице, что никогда в жизни не возьмет в рот водки... Чаратила

завопил и бросился сквозь кусты прочь, прочь отсюда... А белое чудовище мчалось за ним с гневным торжеством — настал ее час! Она дождалась! Чаратила подбежал к ограде и, падая и обдирая ладони, попробовал перелезть через нее.

— Жучка, кусь! Жучка, кусь!

Заливистый собачий лай сменился Чаратиловым криком боли. Последним усилием Хведька Чаратила перевалился через ограду и исчез в неизвестном направлении, как молния — не потому, что так быстро, но потому, что зигзагами...

Панна Констанция не спеша отерла свое античное тело. Последний нахальный взгляд месяца — и оно спряталось под длинным коричневым платьем из плотной шерстяной ткани, с застежкой под горло.

"Это несомненно был офицер,— почему-то подумала панна Констанция.— Такой бесстыдный.... дерзкий... Жаль, что не было с собой кинжала...".

Панна вообразила, как эффектно было бы приставить кинжал к своей белой груди и сказать: "Лучше смерть, чем позор! Никто не возьмет силой то, что принадлежит только мне и Господу!". Нет, лучше было бы кинуться с кинжалом на насильника: "Умри, несчастный! Ты посмел подглядеть то, что не предназначено для чужих глаз!"

Комары жалобно пищали над влажными волосами панны Констанции, аккуратно заколотыми роговым гребешком. Мир был чудесен, хотя и опасен. До конца жизни оставалось сорок лет, восемь месяцев и один день. Был шанс провести их в приятных воспоминаниях.

А в душе корчемного завсегдатая Чаратилы навсегда поселилась непонятная тоска. Ночное происшествие вспоминалось ему все чаще и чаще, и мерещились Чаратиле то белотелая русалка с приветливо протянутыми руками, то россомаха, лохматая, несчастная — за то, что при жизни умертвила своего ребенка, после смерти обреченная жить в воде и пугать случайных прохожих...И хотя Чаратила никогда больше не отважился искушать судьбу прогулкой в панский парк, но полюбил сидеть по ночам на развалинах старого замка или над лесной криницей и всматриваться сквозь темные кружева крон на звезды, и в нечесанной бороде его с первыми паутинками седины переплетались лунные лучи, а губы шептали необыкновенные нежные слова, которые не услышала и не услышит от Чаратилы ни одна земная женщина...

И тогда из глубины Лебединого озера всплывала бело-голубая лилия и распахивала свои лепестки, как покрывало богини... А панна

Констанция крутилась на пуховой перине и повторяла в сладкой дреме: "Это несомненно был офицер...".

АПОЛЛОН И МАРСИЙ

Фригийский сатир Марсий так хорошо играл на флейте, что осмелился вызвать на состязание в музыкальном мастерстве самого Аполлона, бога Солнца и искусств. По мнению большинства слушателей, Аполлон победил. Марсий был жестоко наказан за дерзость: Аполлон приказал живьем содрать с него кожу.

(Древнегреческий миф)

Кто в городе Б* не знал скрипочки Гирша! Это теперь никто не помнит ни ее, ни ее владельца — но ведь сегодня люди не помнят и многого другого! Даже Бога Всевышнего, Который над всеми — белорусами, поляками, литовцами, евреями...

А когда играла скрипочка Гирша, за окном на сухих ветках сирени расцветали голубые цветы, сквозь пыльные стекла пробивались то солнечные, то лунные лучи, а корчмарь Бурыга, вытирая слезы с обвислых усов, бесплатно наливал пива неимущим посетителям. Вот что делал Гирш своей скрипкой!

И во всем городе Б* не находилось ни одного озорника, ни одной пропащей души, кто бы решился обидеть, высмеять этого нескладного старого еврея, с гладким блестящим островком лысины в пышном венчике черно-седых, словно присыпанных пеплом, кудрей...

И Гирш знал свою власть над людьми, и была Гиршева скрипка голосом города Б*, его душой и его совестью...

"Эх, если б этому музыканту подучиться! Чтобы кто-то помог ему получить музыкальное образование, добиться положения в свете ,"— сетовали ученые люди, которые изредка попадали в корчемку, где играл Гирш.

Но ученые люди на то и ученые, чтобы говорить про то, чего не было, и то прекрасное, что будет.

Никто не помнит сегодня Гирша и его скрипку... Но каждый обладатель музыкальной энциклопедии может при желании открыть ее на букве "П" и прочитать о выдающемся скрипаче Николае Поливанове, который родился в городе Санкт-Петербурге, учился у известного педагога Макарини, играл в оркестре Мариинского театра, потом начал ездить с сольными концертами, получил в Париже Гран-При, в Монтевидео — золотую лиру, в Лондоне — медаль св. Антония, а в Италии — право дать концерт на скрипке, которая принадлежала

Никколо Паганини — а такое право получает только лучший скрипач мира...

Николай Поливанов по дороге на Варшаву остановился в городе Б*. Какие обстоятельства принудили любимца столичной публики переночевать в люксовом номере двухэтажной, крашенной желтой меловой краской гостиницы города Б*, гостиницы со звучным названием "Эсперасьон", мы уже не узнаем никогда. Но губернатор города Б* удостоился чести принять у себя знаменитого гостя. Тот, к сожалению, не посчитал достойным звучания своей скрипки провинциальный светский салон. И губернатор — неужели можно допустить, что с каким-то недобрым умыслом?— рассказал заезжему светилу о старом еврее Гирше и о его скрипке. Господин Поливанов холодно улыбнулся, и были в этой улыбке и презрение, и насмешка, и недоверие... Но и некоторая досада.

Так Гирш встретился с Николаем Поливановым. Зал губернаторского дома был переполнен, а под окнами толпился весь город Б* — завсегдатаи Бурыговой корчемки, мещане и гимназисты, бабы-торговки и звонкоголосые девчата с мануфактуры по производству гобеленов... Город Б* поставил свой голос против голоса чужацкого, выхоленного, купленного академическими уроками...

И вот сквозь широкие окна губернаторского дома полились звуки Гиршевой скрипки, и расцвела голубыми цветами сирень, хотя на дворе кончался август, и луна опустилась просто на крышу, как обыкновенный воздушный шарик, и покачивалась в ритм музыке...

А там, в зале, сотни взглядов были направлены на господина Поливанова, ловя малейшее изменение его лица. И я не скажу, что эти взгляды было приятно и легко выдерживать. Но Поливанов привык выдерживать взгляды, добрые и недобрые, завистливые и равнодушные... Зрители не заметили, как загорелся в нем священный, извечный огонь артиста, огонь, который заставляет быть лучшим, первым, неповторимым или умереть... Огонь этот сконцентрировался в пальцах Поливанова, и они, еще внешне недвижные, горели и жаждали прикосновения струн и смычка...

— Принесите мою скрипку, — хрипло сказал Поливанов, стараясь не глядеть на Гирша, который стоял с опущенным смычком, и лысина его блестела от пота, а рот улыбался улыбкой победителя.

Поливанов стал очень серьезен. Ухмылка больше не кривила его губ. Он был напряжен и сосредоточен, и присутствующие, еще не услышав его игры, тоже сделались серьезными и напряженными, потому что почувствовали, что будет явление чуда.

Не знаю, как играл господин Поливанов на сценах Парижа и Лондона, но уверена, что никогда не играл он так, как играл в маленьком городе Б* по дороге в Варшаву. Ветер, могучий северный ветер ворвался в зал губернаторского дома, и взлохматил прилизанные прически мужчин и кокетливые кудряшки дам, и холодом пронзил сердца слушателей на улице. А после этот ветер — Бог знает, как!— сделался огненным вихрем, и опалил сосредоточенные мысли, и заставил сердца биться часто, как у пойманной птицы... И когда казалось, что вот-вот этот огонь, этот накал ввергнет чувства в сумасшедшую вакханалию, огненный вихрь превратился в искристый фейерверк, в россыпь цветов, живых и искусственных, конфетти и серпантин, и пелось в каждой душе: "Хорошо жить! Прекрасен Божий мир! Не нужно отчаиваться и злиться — все будет хорошо!"

Но, чтобы Искусство не кончилось на этой пестрой ноте, фейерверк превратился в струю живого родника —- нежную и вечную, прозрачную кровь земли... Пиано... Пианиссимо... И последний взлет смычка отправил души слушателей в такие выси, где они еще ни разу не были и о которых будут вспоминать — с тоской и надеждой — до конца жизни...

Крупные капли пота стекали по породистому лицу столичного скрипача. Поливанов чувствовал приятную опустошенность человека, который отдал все силы, все, что мог, и даже немного больше, чтобы исполнить свое дело, и теперь не в чем было упрекнуть себя.

Что же, крики "Браво, маэстро!", "Брависсимо!" не были в новинку для господина Поливанова. Он снова стал холодным и слегка насмешливым и через час сидел на обитом бархатом сиденье поезда "Москва-Варшава".

Пра Гирша не вспомнили. Он прошел сквозь толпу, сгорбленный, старый, пряча униженную скрипку под полой жилета... Эта скрипка была голосом города Б*, его душой и совестью... Теперь город Б* потерял свой голос, потому что узнал, что есть более звучные...

И Гирш навсегда исчез из города Б*. О нем жалели, искали, но потом забыли, и уже никогда за тусклыми оконцами Бурыговой корчемки не расцветали на сухих ветках сирени голубые цветы.

ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА

Любимая жена великого певца Орфея, прекрасная нимфа Эвридика, погибла от укуса змеи. Орфей спустился в царство умерших душ и силой своего искусства убедил Аида, властителя

этого царства, отпустить Эвридику на землю. Но на обратном пути, у самого выхода из подземного царства, Орфей оглянулся, чтобы посмотреть, идет ли за ним Эвридика, что делать ему было запрещено. И Эвридика навсегда вернулась в царство мертвых.

(Древнегреческий миф)

Город Б* имел собственный театр. Постоянной труппы в нем не было. Да и проводились на плохо струганной сцене чаще всего концерты духового оркестра или хора городского совета гигиены и санитарии. Стулья в зале сдвигались к стенам, на освобожденной площадке танцевала молодежь, и под быстрыми ботинками хрустела шелуха от семечек.

Но время от времени город Б* навещали гастролеры. Это были типичные провинциальные антрепризы, с героями-любовниками, осыпанными пудрой, которых за полчаса до спектакля нужно было силой тащить из Бурыговой корчемки; с героинями, тридцатилетними худыми истеричками, с субретками, хорошенькими пухленькими девицами, чьи розовые губки пахли табаком и грехом... Гастролеры привозили в город Б* вечного Шекспира, непривычную суету и отблеск другого, романтичного и греховного, мира... Город Б* помнил о трех жертвах, принесенных им на алтарь искусства: мадам Кунакович, которая сбежала от своего мужа, собственника галантерейной лавки мосье Кунаковича, с нижнегородским тенором; пожарника Карацупу, который сейчас играл на тромбоне где-то в краковском оркестре, и юную выпускницу частного пансиона мадам Касио Ксению Чичалович. Ксения имела пышные светлые волосы, огромные голубые глаза, стройную талию, гибкую фигуру, характер весеннего ручейка и жениха Стася Гарбузака, сына владельца пивоварни города Б*. Все вышеперечисленное, кроме последнего, Ксения и увезла с собой в поисках образов французских романов и собственной неукротимой фантазии.

"Ксенечка, птичка моя!"— причитал несчастный Гарбузак, сидя под кустами сирени возле Бурыговой корчмы, и крупные, как бутафорские бриллианты, слезы катились по его круглому лицу и блестели на пышных рыжих усах...

В результате настойчивых розысков Ксениных родичей город Б* узнал, что Ксения Чичалович, нежный цветок белорусской провинции, окончив ускоренные курсы декламации (10 уроков — 5 рублей 30 копеек), была принята в какую-то антрепризу на амплуа героини и исчезла в неизвестном направлении в водоворотах

гастрольной жизни под чужим именем и с природной жизнерадостностью, воспитанной на здоровом воздухе города Б*.

...И поплыл по воде сухой букетик Офелии, и напрасно пытались его задержать прибрежные камыши...Короче, прошло два года. Стась Гарбузак унаследовал отцовскую пивоварню и теперь проверял на посетителях Бурыговой корчемки новые сорта своего пива... Актерская труппа, в которой блестела фольговая звездочка Клелия Лебедева, она же Ксения Чичалович, после неудачных гастролей в русской глубинке очутилась в городе Б*. Клелия долго сидела перед тусклым зеркалом третьеразрядного номера гостиницы "Эсперасьон", придирчиво изучая свой облик. С того времени, как оставила пышные сады и кривые улочки города Б*, она похудела, со щек сошел здоровый провинциальный румянец, зато глаза увеличились, и в них появился таинственный, слегка лихорадочный блеск. Клелия провела пуховкой по задорному носику: ничего! Ей есть чем поразить город Б*!

Тем более, что Гарбузак никогда не имел привычки ходить по театрам.

Но привычки меняются не реже чем деньги на кружку пива. И Стась Гарбузак не пропускал теперь ни одного представления в городе Б*. То ли он надеялся, что однажды увидит на здешней плохо струганной сцене свою улетевшую птичку Ксенечку, то ли действительно прикипел к сумасшедшему и таинственному миру Мельпомены...

И когда из-за кулис показалась натуральная блондинка Дездемона, Гарбузак сидел во втором ряду партера, и его полосатый пиджак украшала крупная астра с бело-красными пестрыми лепестками. Вы, наверное, думаете, что Гарбузак вскочил со своего честно оплаченного места, что он взмахнул руками, заревел "Ксенечка!" и бросился к сцене... Примитивно думаете. Гарбузак воспринял осуществление своей мечты спокойно и естественно, как и пристало человеку, который желал и верил с такой силой, что не имел и тени сомнения в удаче. Разве удивлялся Моисей, когда воды Чермного моря расступились перед ним? Гарбузак просто был счастлив и поминутно отирал большим накрахмаленым носовым платком круглое румяное лицо. Только когда черные руки Отелло сжались на деликатной шейке Ксении, Гарбузак не смог удержать громкого вздоха... Ксенечку нужно было спасать из опасного, полного ужасов, царства гастрольного театра.

В маленькой пыльной комнатке-гримерной Дездемона испуганно смотрела в засиженное мухами зеркало. В грязном стекле

отразилась светлая полоска приоткрытых дверей, потом — тучная фигура пивовара...

Надменную улыбку примадонны и такой же гордый поворот головы Клелия Лебедева отрепетировала еще в начале артистической карьеры... Но не успели сорваться с ее губ слова звучные и жестокие, как, тиская в руках дорогую французскую шляпу, заговорил Стась Гарбузак, и говорил он просто и убедительно, как можно говорить только с любимой женщиной, которую хочешь вернуть, или с паном судьей, который через какую-то минуту должен вынести тебе приговор.

—Ксенечка, птичка моя! — говорил Гарбузак, и слова его мягко перекатывались и блестели, как морские камешки в прозрачной волне.—Ту беседочку, где ты так любила сидеть, всю обвил дикий виноград; а на пруду поселился чудесный белый лебедь — девчата любят кормить его хлебом и пирожными. А я купил трех отличных коней английской породы; они рыжие, с белыми гривами и хвостами. Помнишь, мы ездили на развалины старого замка и ты читала мне там стишки Барана и Шуллера? У нас теперь открылись курсы декламации, твои подруги Зося и Мария занимаются там и на Рождество будут выступать на благотворительном вечере в женской гимназии. Снова откроется каток. Помнишь, как ты каталась там в светле фонаря, такая тоненькая, легкая, и снежинки падали на тебя, как белые цветы? А я купил фортепиано, немецкое, черное, блестящее, и с него каждый вечер вытирают пыль. Оно ждет прикосновения твоих пальчиков. У Дануси и Карповича недавно крестили ребеночка... Доченьку. А я купил саксонский фарфоровый сервиз, на двадцать четыре персоны. Он такой весь белый, и розовый, и голубой, и там ангелочки, и налепленые цветы, и золотые разводы... Пойдем, Ксенечка, моя коляска стоит возле театра. Ты по прежнему любишь шоколадный торт и миндаль в сахаре?

Ксения Чичалович медленно, как во сне, приподнялась. Старая развратная ведьма Мельпомена, которая прикрывается красивой маской и людским любопытством, с досадой оставила гримерную театра города Б* и свою жертву. Яблоневые сады и лунные ночи города Б*, его церковки и костелы, кафе и корчемки, деревянные мостики и сиреневые беседки предстали в воображении бывшей Дездемоны во всей своей естественной силе и потребовали к себе ее душу. Гарбузак осторожно взял за руку почти утраченное счастье и повел к выходу из театра, продолжая живописать словами сладкие реалии местечковой жизни... Ксении было легко и покойно, ей словно передалась убежденность и вера почти забытого жениха...

— А еще я придумал новый сорт пива, — сказал Гарбузак.— Я назову его "Ксенечка" и организую вечер его бесплатной раздачи в корчемке Бурыги... Какое пиво, Ксенечка! Какой аромат!

В глазах Ксении, только что незамутненно-голубых, вспыхнули две довольно неблагоприятные для Гарбузака молнии, губы снова поджались. Примадонна Клелия Лебедева вырвала свою руку из красной лапы пивовара Стася Гарбузака, развернулась и пошла назад в свой мир, неустроенный, капризный, таинственный... Гарбузак, не веря в несчастье, бежал следом и что-то говорил, но слова его больше не имели силы...

Клелия бегом вернулась в гримерную и закрыла двери на щеколду. Бедный Гарбузак остался по ту сторону дверей.

—Ну почему, Ксенечка? Почему?

А Клелия бросила сквозь узкое окно презрительный взгляд на немощенные виды города Б*. "Пи-во! Снова это проклятое пиво... А я, дура, уши развесила! "Замок! Саксонский фарфор! Каток!". А все — на уровне пива... Пивная королева города Б*... Бр-р-р...".

Несчастного Гарбузака прогнал от Ксениных дверей антрепренер, а назавтра труппа, словно сумасшедшая птичья стая, полетела искать свой теплый край то на востоке, то на западе, то на юге, то на севере... Гарбузак так и не смог понять причины своего фиаско, и театральный мир навсегда остался для него царством опасным и неизведанным, где люди пропадают, как в трясине, и которое не отпускает жертв, как не отпускает трясина...

"Нужно было сказать ей, — рассуждал Стась за кружкой пива, которое так и не назвал "Ксенечкой", — что я купил часы с кукушкой и итальянскую картину с голой богиней...".

Год спустя Гарбузак женился на панне Зосе, которая так и не окончила курсов декламации, и в Бурыговой корчемке весь вечер бесплатно пили душистое пиво "Зосенька".

Как сложилась дальнейшая судьба Ксении Чичалович, мы не знаем, как нельзя знать тайны иного мира...

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Чтобы навредить людям, боги Олимпа создали прекрасную женщину Пандору и наделили ее неукротимым любопытством. В доме мужа Пандоры находился ящик, который нельзя было открывать. Пандора из любопытства открыла его и выпустила оттуда болезни, ссоры и вражду.

(Древнегреческий миф)

Почтовое отделение города Б* размещалось в одноэтажном кирпичном домике, почти спрятанном под кронами старых лип. Теперь, предрождественскими морозами, липы укутались благородным инеем — этакие важные пани, которые совсем оттеснили в уголок ясного морозного дня скромное зданьице почты.

А в здании почтмейстер пан Сикорский в окружении своих подчиненных рассматривал посылку, доставленную по железной дороге с очередной партией утренней почты. Посылка была адресована учителю химии Капуцкому, любителю необычных опытов от спиритических сеансов до археологических раскопок. Она действительно заслуживала внимания: квадратный ящик в половину человеческого роста высотой, плотно обтянутый черной бархатной бумагой, на которой поблескивали звезды из фольги. Отправитель подписался лаконично: "Братство "Гаудеамус". Поскольку было известно, что учитель Капуцкий до конца рождественских каникул уехал куда-то в Гродненскую губернию к родственникам, а его холостяцкая квартира пуста, посылке надлежало находится в хранилище почтамта до возвращения адресата.

—Посылка как посылка, — проговорил Сикорский и пригладил справа налево редкий чуб, зачесанный на раннюю лысину. — Отнести в хранилище и забыть.

— Не скажите, пан Сикорский, — тоскливо протянул служащий Карасюк. — Мне такой никогда не пришлют. Может быть, там телескоп для наблюдения звезд — пан Капуцкий как-то рассказывал про такое приспособление на лекции в клубе гражданских служащих. Если этот телескоп навести на планету Сатурн, можно увидеть на нем кольца!

— Так-таки кольца...— невнимательно усомнился Сикорский, поглаживая черную бархатную обертку посылки.

— А может быть, там фонограф?— высказался другой служащий. — Моя жена ездила к сестре в Вильно, и там на ярмарке слушала фонограф, две копейки за сеанс. Последнюю речь Авраама Линкольна, господа!

Тут со всех сторон посыпались гипотезы насчет содержимого посылки, одна фантастичней другой.

— Все! Тихо! — скомандовал почтмейстер. — Посылка отправлена по всей форме, и мы не имеем права вскрывать частную корреспонденцию. Мы государственные служащие и должны исполнять свои обязанности . В хранилище! И чтобы я больше про этот ящик не слышал!

Однако слухи про таинственую посылку поползли по городу Б*. Вскоре в городе появилось несколько довольно интересных версий, которые уверяли, что в Черном Ящике: набор мамонтовых и динозавровых костей для гимназического палеонтологического музея; восковая фигура Наполеона в сидячей позе; египетская мумия; и даже — оборудование для запуска воздушного шара. Черная бархатная обшивка посылки залоснилась от бесконечных прикосновений... Но более всего страсти разгорелись, когда учитель Капуцкий не вернулся в положенное время и прислал руководству гимназии письмо, в котором сообщал, что ему временно предложили должность приват-доцента в Гродненском медицинском университете и он задержится в Гродно еще на месяц, а потом, если удастся, останется навсегда.

— Вскрываем посылку! — подлетели к пану Сикорскому взволнованные служащие почты. — Адресат выбыл!

— Не имеем права! — вздохнул Сикорский. — Во-первых, Капуцкий еще может вернуться, во-вторых, если он не вернется, мы обязаны отослать эту посылку на его новый адрес.

Осознание того, что они, вероятно, не будут присутствовать при вскрытии Черного Ящика и вообще никогда не узнают, что там было, наполнило души присутствующих невыразимой горечью. И по городу поползли слухи другого рода. В Черном Ящике: оружие; динамит и бомбы; подпольная типография... Наконец, самую оригинальную версию предложила жена почтмейстера пани Сикорская — что в посылке расчлененный труп учителя Капуцкого, а письмо от него прислал коварный убийца, чтобы скрыть исчезновение учителя...

Хотя ключ от хранилища Сикорский носил с собой, бархатная бумага на посылке в нескольких местах прорвалась. Но под ней оказался слой красного картона. Пан Сикорский долго боролся со своей гражданской совестью, наконец взял тонкий стальной нож для разрезания бумаги и рано-рано, пока не появились подчиненные, забежал в хранилище и проткнул красный картон... Однако нож через какие-то два вершка уперся во что-то твердое, что острию не поддавалось. Так было со всех сторон. В отчаяньи Сикорский расковырял одну дырку пошире: за красным картоном виднелось дерево. ..

Капуцкий очевидно не собирался приезжать в город Б* и в начале февраля потребовал выслать документы об своей отставке и оставленные вещи, которые уместились в одном небольшом чемоданчике. Самое ужасное, что учитель (а теперь приват-доцент Гродненского медицинского института) выслал свой новый адрес, абсолютно

точный. Неполученная посылка должна была нераспечатанной отбыть на утреннем поезде вместе с учительским чемоданом в Гродно.

Снег под липами был давно истоптан. И вы напрасно думаете, что это сделали рождественские ряженые. Жители города Б* привыкли обсуждать под окнами почтового отделения версии о содержимом Черного Ящика. Возникли даже своеобразные партии сторонников той или иной версии. Самой многочисленной была партия египетской мумии. Много было сторонников версий про мамонтовые кости и телескоп. Немногочисленной, но напористой проявила себя партия версии о расчлененном трупе. Ее возглавляла жена почтмейстера.

Споры про Черный Ящик велись и в Бурыговой корчемке за кружкой гарбузаковского пива "Зосенька", и в комнатах губернаторского дома. Большинство гимназистов мужской гимназии, где еще недавно преподавал Капуцкий, было убеждено, что в посылке что-то такое, чем объективно должна пользоваться их гимназия — телескоп ли там, кости, или оборудование для химических опытов. И не один отчаянный гимназист пытался пробраться в хранилище почты, имея в карманах, ранце или в руках зловещие приспособления взломщика — стаместки, сверла, ломики, даже порох и нитроглицерин... Известие, что Черный Ящик отправляют в Гродно, всколыхнуло весь город Б*. Пани Сикорская налетела на своего мужа с настоящим отчаянием солдата, который идет в последнюю атаку.

— Только из-за твоего упрямства страдает весь город! Неужели нельзя было сразу распаковать ту проклятую посылку, и мы бы не тратили нервы, время и дружеские отношения!

— Но мы государственные служащие, — слабо защищался пан Сикорский. — Мы не имеем права... Есть инструкции...

—Чихала я на твои инструкции,— закричала разъяренная женщина. — Если вы государственные служащие, так давно должны были заподозрить недоброе и раскрыть преступление. В конце концов, пригласи жандармов, скажи, что от посылки исходит сильный трупный запах...

— Глупости...— пробормотал Сикорский. — К тому же Ящик не слишком тяжелый... Однако...

—- Однако! — подтвердила пани Сикорская, и почтмейстер, неожиданно ощутив душевное облегчение, помчался в жандармерию города Б*.

Нужно ли говорить, что хранилище почтового отделения не могло вместить всех желающих присутствовать при торжественном моменте открытия Черного Ящика, а липы вокруг почты утратили не

только благородный иней, но и отдельные веточки. Изнутри окна выглядели, как витрина магазина по продаже расплющенных носов и сумасшедших глаз. Черная обертка, кругом прорванная и испачканная, почти утратившая фольговые звезды, слетела в одно мгновение, разодранная множеством рук. Та же судьба постигла коробку из красного картона, которая оказалась под оберткой, также прорванная и даже в одном месте прожженная. В картонной коробке был фанерный ящик, меньшего размера. Взмахнули топоры, и глазам присутствующих открылась... еще одна, меньшая, коробка из зеленого картона. Далее было: коробка из картона, обклеенная фольгой; еще один ящик из фанеры; коробка из желтого картона; коробка из синего картона в горошек; коробка, оклеенная бумагой с ангелочками, звездами и снежинками; коробка розовая; коробка голубая, снова красная... Наконец в самом центре оказалась белая плоская коробочка размером с ладонь, в которой лежал дешевый портсигар и письмо со следующим текстом: "Дорогой Генусь! Поздравляем тебя с Рождеством! Не забывай старых университетских друзей, наше братство за кружкой виленского пива и веселые рождественские шутки! Антось, Витас, Ришард, Петро, Анцыпар".

Помещение почты было все засыпано разноцветными обрывками бумаги и щепками.

— За такие шутки по морде нужно бить, господа, — растерянно сказал пан Сикорский.— Это же заставляют работать государственных служащих, тратить силы, энергию, нервы на такую глупость...

Пани Сикорская молча плакала. Народ разошелся. И мы б не советовали в этот день, да и в ближайшие дни, пану Капуцкому появляться в городе Б* даже с самыми благими намерениями. Правда, он и не появился. Хотя не был виновен в вышеописанных событиях, как говорится, ни сном, ни духом...

Пан Сикорский угнетенно шел домой под руку с молчаливой женой. Служебный долг был нарушен, тайна оказалась насмешкой... И что теперь делать с тем проклятым портсигаром?..

Утром на липах вокруг почтового отделения города Б* вновь появился иней. Но скоро, скоро ему предстояло стать оттепельным дождиком и ссыпаться в мокрый снег...

НАРЦИСС И ЭХО

Прекрасного юношу Нарцисса полюбила нимфа Эхо, которая была лишена дара речи и могла только повторять чужие слова. Нарцисс не знал любви и прогнал Эхо. Боги наказали гордеца: юноша

влюбился в собственное отражение и погиб. Эхо оплакивает его по сей день.

(Древнегреческий миф)

В маленьком магазинчике города Б* под большой зеленой вывеской с надписью "Табак" менее всего продавалось табака. На магазинных полках, аккуратно застланых белой бумагой с вырезанными по краям узорами, лежали изюм и орехи, розовела яблочная пастила, поблескивали многочисленные яркие "манерки" — квадратные жестянки с перцем, имбирем и чаем... На нижних, широких, полках громоздились хозяйственные инструменты — чугунные утюги, безмены, керосиновые лампы, топоры и другие неромантические предметы человеческого быта. В довершение всего, на стенах магазина были развешаны платки с кистями и образцы дешевых пестрых тканей на местечковый вкус. Наконец, на прилавке были разложены канцелярские принадлежности — стопки тетрадей, цветные и простые карандаши в высоких стаканах, ластики, линейки, и заполняла помещение своим своеобразным ароматом огромная бочка селедки, которая пряталась в полумраке магазина.

Царствовала в этом пестром царстве житейской мелочи Ганулька, дочка владельца. Ганулька имела семнадцать прожитых лет, кроткий нрав и никакого образования. Могла Ганулька тонко прясть, копать картошку, жать колосья да звонко петь, и большую часть жизни пробегала босиком по пыльных улицах города Б* да окрестных лесных тропинках, пока ее отец в результате совместных усилий цепкого характера и экономического мышления не разбогател и не купил этот магазинчик, за прилавок которого, опять же в целях экономии, поставил дочку. Последняя же, при своем кротком простом нраве, унаследовала от отца математические способности и никогда не ошибалась при подсчете фунтов, штук и метров. И хотя ужасно скучала в полумраке отцовского магазина, и не думала жаловаться, покорно принимая жизнь такой, какая есть. Что касается внешности Ганульки, то в городе Б* ценился иной тип красоты — курносенький носик, полные розовые щеки, пышные светлые волосы... Но древний грек да и наш предок, что рисовал первые иконы по византийскому образцу, не оставил бы без внимания Ганулькино личико с тонкими чертами...

В той весенний день, когда смешанный запах селедки и табака казался особенно отвратительным на фоне аромата цветущих садов, в двери под зеленой вывеской вошел студент первого курса Санкт-Петербургского университета Николай Шпадарович. Пан Николай

приехал на каникулы к отцу, доктору Шпадаровичу, заведующему земской лечебницей. Николай брезгливо сморщил тонкий породистый нос (н-да, амбрэ...), неспешно подошел к прилавку и, глядя поверх Ганулькиной головки с аккуратно уложенными темными косами, вымолвил:

— Попрошу три тетради в линейку и простой карандаш.

Ганулька всегда с трепетным уважением относилась к тем, кто покупал у нее письменные принадлежности. Но такого ученого и красивого панича она видела впервые... Николай Шпадарович, все так же глядя мимо Ганульки, принял из ее дрожащих рук покупки и сдачу, приподнял на прощание шляпу и исчез в весеннем солнечном воздухе.

И что ему, юному светскому льву, было до того, что вместе с мелкой сдачей у него в кармане очутилось сердце маленькой торговки из табачного магазина города Б*?

А теперь мы должны объяснить читателю, почему блестящий молодой человек посетил бедный магазинчик на окраине города. Николай Шпадарович был поэтом. Признаться, он с радостью отдал бы и место в престижном университете, и отцовскую щедрую денежную помощь, и будущее место доктора за одно мгновение романтичной славы Франсуа Виньона, Фридриха Шиллера или Адама Мицкевича... О том, что существует какая-то литература на местном наречии, пан Николай знал, и даже как-то разговаривал с двумя местными учителями, которые доказывали, будто это наречие есть особый, древний язык, что его нужно развивать, что нужно работать ради возрождения культуры этого народа, так называемого белорусинского. Может быть, и так, но больше всего пан Николай ненавидел клеймо своего провинциального происхождения, ненавидел свой местный акцент, от которого упрямо избавлялся, пытаясь выдать хотя бы за польский. Временами он ненавидел даже собственного отца: за то, что тот происходил из обыкновенной мужицкой семьи, а главное — что этого не стыдился. И что ему было до этой земли, и ее курганов, и ее преданий, и погибших за нее повстанцев, до ее нежных и грустных песен, до ее папороть-цвета и простой и верной, как лесной ручей, любви ее детей, когда театры, рестораны, богемные кабаре, литературоведческие диспуты и типографии, в которых издавались пухлые томики стихов с золотыми обрезами, были там, в чужих больших городах. И чтобы попасть в тот Эдем, сделаться там своим, уважаемым, знаменитым, нужно было отряхнуть с себя пыль города Б* старательно и навсегда... И вот пан Николай ежедневно отправлялся за город, на романтические развалины замка, и сочинял

там стихи, вспоминая Вийона и Шиллера, Пушкина и Лермонтова и не осознавая, что вдохновение ему может дать только эта, презренная им земля, и у замка этого была своя история, отличная от той истории, которую изучал Николай в гимназии и университете.

Вот по дороге к замку и зашел Николай Шпадарович в магазин "Табак" за тетрадью и карандашом...

С какого-то времени Николай стал замечать во время своих вечерних экзерсисов, что неподалеку часто бродит какая-то девчонка — то собирает цветы, то плетет из них веночек, то присядет и тихонько запоет здешнюю песню... Николай воспринимал это явление, как воспринимал птиц, которые так же порхали вокруг него. Но однажды от особенного прилива поэтического чувства Николай слишком нажал на карандаш... В карманах запасного нету...

— Пану нужен карандаш? — паслышался робкий голос из-за спины — как мышонок пропищал.

Шпадарович схватил протянутый тонкой девичьей рукой карандаш и продолжил запись эпохальных строк, не заметив, как девушка-благодетельница, смущенная своим смелым поступком и невыразимо счастливая, убежала в недалекий лес, чтобы там расказать единственной своей подружке, болтливой лесной криничке, про первое, чистое, как криничная вода, чувство...

Пан Николай словно милостиво позволил странной девочке находится подле себя и восхищаться своей персоной. Ганулька могла прибегать к замку только после закрытия магазина, и иногда, прибежав, не заставала там своего кумира — и утром ее подушка была мокрой от слез. Девочка сделалась забывчивой и временами, доводя до бешенства отца, допускала ошибки в расчетах.

Шпадарович привык к своему, как он условно называл девочку, "лесному духу". Временами он читал Ганульке свои стихи, будучи уверен в восхищении слушательницы. Что ж, молчаливое, беззаветное восхищение приятно каждому, и даже нужно. Но встреть завтра Николай Ганульку на улице — он и не узнал бы ее, настолько мало занимала его ее особа.

Однажды Ганулька не нашла поэта на развалинах, хотя прибежала необычно рано. Прождав до темноты, девушка в тревоге направилась к дому пана доктора. Дрожа от стыда и страха, спряталась в кустах сирени и всматривалась в окно, из-за портьер которого струился тусклый свет керосиновой лампы. Вдруг портьеры раздвинулись, окно распахнулось, и показался сам пан Николай, со взлохмаченными волосами, в расстегнутой рубашке. Николай разъяренно комкал в руках какую-то бумагу, потом размахнулся и

швырнул ее изо всей силы в кусты, едва не попав в Ганульку. Потом грязно выругался по-русски и закрыл окно.

Ганулька осторожно вышла из своего укрытия, подобрала выброшенную бумагу и попробовала распрямить — это было письмо. Прочитать, что там написано, девушка не могла, тем более не могла попросить об этом кого-то. Ганулька понимала только, что у ее кумира случилась беда и письмо имеет к этому отношение.

Что могла сделать бедная Ганулька? Назавтра, еле дождавшись, пока отец разрешит закрыть магазин, девушка одела самое лучшее платье из темно-зеленой шерстяной ткани, с белоснежным воротником из вязаных кружев и такими же манжетами, зашнуровала высокие ботинки и, краснея (потому что это был грех), взяла одну из бутылочек с одеколоном, предназначенных на продажу, и тронула нездешним ароматом за ушами... Ганулька не знала точно, что будет делать, но надеялась, что переполнявшие ее слова восхищения и участия могли понадобиться сегодня пану Николаю.

Николай Шпадарович возвращался домой со спектакля заезжей театральной труппы. Театрик был убогий, труппа была бездарной, пиво в буфете имело привкус мыла, а звезды светили возмутительно ярко. Шляпа пана Николая чуть сдвинулась на левое ухо, открывая безупречно причесанную и набриллиантиненую челку; под расстегнутым пиджаком поблескивала серая парча жилета и шелковый узел галстука, блестели ботинки и набалдашник модной тросточки в виде головы черного пуделя. Из-за кустов вынырнула тоненькая фигурка:

— Пан Микола... Я только хотела сказать... У пана Миколы такие стихи...

— Сти-хи-и ?— Шпадарович грозно приблизился к девушке. — Ты кто такая?

— Пан Микола читал мне стихи... Там, в замке...

— А "лесной дух"! Ты откуда тут? Следишь за мной? Кто тебя воспитывал? Разве прилично девушке приставать к незнакомому мужчине? А, что с них взять! "Деревня"! А туда же, "стихи"... В гробу я видел те стихи с тобой вместе...

Последние слова пан Николай говорил уже за закрытой калиткой. Назавтра он уехал к месту учебы и в город Б* не вернулся никогда. Не приехал даже на похороны отца. Говорили, что он выгодно женился на дочке своего профессора, бросил литературные занятия и держит свою клинику, где богатые женщины с удовольствием лечатся от ожирения, истерии и астении.

Ганулька по-прежнему торговала в отцовском магазине. И даже когда стала зрелой замужней женщиной, матерью пятерых детей, все так же перепрятывала таинственный клочок бумаги, исписанный словами, что перечеркнули жизнь и ее, и ее божества, и до самой своей смерти не узнала смысла этих слов.

А если б смогла, то прочитала б в заветном письме следующее: "Уважаемый г-н Шподарович! Прочитал Ваши стихи, которые Вы мне прислали, как Вы изволили выразиться, на беспристрастный суд. Не обнаружил в них ни чувств, ни мыслей. Право, можно подумать, что Вы живете под стеклянным колпаком в обществе нескольких романтических книжек. От всей души советую — займитесь полезным обществу делом и не тратьте душевный пыл и бумагу на гимназические литературные практикования".

Подпись неразборчива.

СЕМЕЛА И ЮПИТЕР

Однажды Юпитер полюбил земную красавицу Семелу. По внушению ревнивой жены Юпитера Юноны Семела попросила, чтобы любимый показался во всем блеске божественной славы. Невыносимое для земных глаз зрелище убило Семелу.

(Древнегреческий миф)

Если в этом несовершенном мире все-таки встречаются такие вещи, как розы, лебеди, закат на фоне развалин старого замка города Б* и миндальный торт, должны в нем быть и счастливые люди.

Хотя розы, лебеди и миндальные торты, не говоря о закате, встречаются гораздо чаще.

В городе Б* не было более счастливого человека, чем пани Авгинья. Она жила в красивом домике с зелеными ставнями, ее отец был мудрый седой брандмейстер, а молодой муж — лучший подчиненный отца, бравый пожарный Михась Кудыка. Панна — теперь уже пани — Авгинья вязала самые красивые в мире кружева, люди ценили ее романтическую натуру и любили за кроткий нрав. А какой огород был у Авгиньи! Не банальные помидоры-бобы росли там, а переселенные из леса и выгона цветы, которые жители города Б* почитали обычными сорняками. У забора возвышался царский скипетр, светились мелкие цветочки бабьего лета и чернокореня, взбиралась на стены дома жимолость, качал свой темный огонь кипрей, подрагивало пушистое миртовое деревце и даже сидело у крыльца нездешнее растение самшит — железное дерево...

Авгинья называла мужа Мишелем и была счастлива, несмотря на то, что с детства имела очень плохое зрение. Между внешним миром и взглядом барышни колыхался радужный туман. Это придавало ее походке романтическую замедленность и неуверенность. Но люди были настолько добры, что совершенно не сердились, когда Авгинья, находясь в своем тумане, натыкалась на них или путала их имена. Да и как можно было сердиться на эту особу с пышной прической, украшенной цветами, с вечной улыбкой. Мишель приходил домой, усталый и мужественный, целовал жену в щеку и съедал ужин, приготовленный умелыми руками поварихи Параски. А юная госпожа Кудыка тем временем ублажала его слух пересказом содержания очередного романа, прочитанного с помощью сильной линзы, и куталась в самовязаную белую шаль с кистями.

— Ох! Ах! Простите, пожалуйста! — это пани Авгинья выносила миндальный торт из кондитерской. Человек, с которым на этот раз столкнулась очаровательная пани, пах дорогим одеколоном, а на лице его сверкало пенсне. Авгинья стыдливо улыбнулась. Незнакомец внимательно посмотрел на неуклюжую туземку и вежливо взял из ее рук коробку с тортом.

— Позвольте, я немного помогу вам. Не сочтите за нахальство — я здесь человек случайный, выкроил день заехать проконсультировать родственницу жены. Позвольте представиться — Самсон Григорьевич Ивановский, московский врач-офтальмолог. Ну, если проще — специалист по заболеванию глаз. У меня к вам несколько профессиональных вопросов...

Весь вечер Авгинья взволнованно ходила по дому, натыкаясь на многочисленные вазы с сухими цветами, расставленные по углам. Белая вязаная шаль сползала с плеч... Небольшая операция, к тому же бесплатная, как интересный научный "прецедент", и Авгинья раз и навсегда избавится от своей близорукости. Авгинья не решилась рассказать о полученном от врача предложении ни солидному брандмейстеру, ни занятому мужу... А как было бы чудесно предстать перед ними спасенной Золушкой! Растает колеблющийся туман, что не дает ей любоваться красотой мира, и тогда...

...Однажды утром белый потолок, в незнакомой сетке трещин и царапин, обрушилась на Авгинью... Барышня махнула рукой перед глазами... Это — ее рука? Авгинья вскочила — голова кружилась, как от первого весеннего ветра. Будто сквозь туман, вспомнился кабинет уездной больницы, нелепое присутствие местных докторов, неприлично любопытных и восторженных, боль, страх, разочарование

— и обещание перемен через двенадцать часов, когда закончится действие обезболивающих средств...

Предметы наступали на Авгинью, беспощадные в своей конкретности. Они резали пространство острыми очертаниями, отъединялись друг от друга жесткими плоскостями и диктовали расстояния. Это был мир яркий, четкий и жесткий... "И красивый... Конечно, красивый!". Авгинья бросилась к зеркалу...

Кто это? Из вычурной бронзовой рамы чудаковато смотрела на нее плохо причесанная большеротая особа, блеклая, как ночной мотылек... Прикосновение к беспощадному стеклу убедило Авгинью что это... Нет, эти покрасневшие глаза, впалые щеки — не ее!..

Слезы на минуту вернули привычный радужный туман, в котором жила поэтическая утонченная красавица...

А вечером придет Мишель! Как мог он любить ее, такое чудовище! Долой — шаль, связанную слепой курицей, долой — шпильки и болотное платье! Сколько вокруг безвкусных вещей, которые по-дурацки расставлены!

К стройной женщине в красивой сиреневой блузке с большим кружевным воротником, с аккуратно подведенными губами и ресницами, с украшенной цветами античной прической подходил коренастый небритый тип с красным тупым лицом (а рот широко открыт), с глазами похотливыми и почему-то испуганными... С кожей пористой, угреватой, жирной... За ним сунулся такой же краснолицый старик в костюме брандмейстера (две пуговицы висели на нитках), самодовольный, с неопрятными пучками седых волос в ноздрях и ушах... Прощай, мужественный Мишель! Прощай, образ идеального отца!

Жестокую шутку сыграл ты с бедной провинциалкой, московский медицинский бог!

Авгинья скрылась в своей комнате, где так нелепо смотрелась большая двуспальная кровать... Но и здесь предметы доставали ее своей чудовищной конкретностью. На фотоснимке, который поставил Мишель на тумбочку, оказалась совсем не Авгинья, а незнакомая наглая брюнетка. В цветочном горшке — полно раздавленных окурков и, не может быть! — наплевано... А на шкатулке, что подарила лучшая подруга, которую Авгинья раскрывала каждый день, прямо на крышке нацарапано мелкими буквами "дура"...

Люди смеялись над "слепошарой", лавочники недодавали сдачу, отец чуть спихнул неудачницу своему подчиненному, а тот, купленный за приданое и должность, утешался у глазатых красавиц города Б*...

Авгинья спряталась в самый дальний и засоренный угол некогда волшебного сада. Что теперь? В монастырь? Просто уйти — из дома, из города, из жизни? Авгинье хотелось вырвать свои глаза, вернуться в мелководное счастье незнания... Но, испытав однажды — знаешь навсегда, на памяти царапины не затягиваются, если это — царапины от осколков счастья...

Над городом Б* заходило солнце. Природа не изменила Авгинье, так как не изменяет никогда. Дрожал прекрасный мирт, и на светло-зеленых листьях окопника отражались лучи... А если в этом мире все-таки существуют пионы, закат, лебеди, миндальные торты и женщины, которые всем прощают, то не так все безнадежно, жестоко и несправедливо...

Прозрачный, как вуаль невесты, смех растаял в листве кустов сирени... Что ж, детей, которые будут, она увидит не через радужный туман...

Никто не знает, какой силой обладают кроткие люди. Авгинья поднялась. Она научится жить и в этом мире. И по-прежнему будет одаривать всех улыбками, и не станет замечать, как снисходительно кривятся встречные. И не перевернет фотографию с наглой брюнеткой.

Закат догорал темным сиреневым огнем. Худенькая женщина с высоко зачесанными волосами тихо подошла к своему дому.

На крыльце с чем-то белым в руках переминался с ноги на ногу бравый пожарный Михась Кудыка, который смешался под незнакомым, ясным и пристальным взглядом жены.

— Ты не замерзла, гм-м, дорогая?

И протянул неумело связанную, с многочисленными спущенными петлями шаль.

Авгинья помолчала и легко коснулась теплыми кончиками пальцев щеки мужа.

— Нужно побриться, милый...

СИДОН И ТРОЯНЦЫ

Во время Троянской войны грек Сидон перебежал к троянцам и убедил их ввести в Трою деревянного коня со спрятанными в его чреве ахейцами.

(Древнегреческий миф)

В городе Б* было три кладбища — православное, католическое и еврейское.

И если кто-то сомневался, что здешние жители чтят память предков, ему стоило пройтись меж крестов, покрашенных бронзовой краской, каменных ангелочков и каменных деревьев с обрубленными ветками, почитать трогательные надписи в стихах... А как торжественно вспоминали почтенных умерших в костеле из желтого кирпича, деревянной беленой церкви и отделанной свекольным кафелем синагоге!..

Жители города Б* любили своих умерших. Они пили за их вечный покой и покупали им искусственные цветы. Что еще могут требовать покойники от живых? Если это не есть память, то на какую холеру она сдалась, истерическая слезливая барышня?..

Пан Бурдейко появился в городе Б* сначала в виде афиши. С заборов и стен смотрел мефистофельского типа мужчина в странной квадратной шляпе, с одного угла которой свисал шнурок с кисточкой. «Только один сеанс! — хором читали любопытные жители города Б*.— Великий медиум Альфонс Бурдейко с ассистенткой Амандой Дельмар! Голоса с того света! Завеса тайны приоткрывается!».

Кто расклеил те афиши, и когда — действительно осталось за завесой тайны.

Три дня у костела, возле церкви и возле синагоги жители города Б* обсуждали незаурядное событие, что должно было произойти.

— Ни за что не пойду! — кричала тетка Крыся, уважаемая вдова местного ветеринара Юзьки.— В Библии сказано — накажи Сидонскую колдунью! Не пойду губить свою вечную душу! — и черный, с блестками платок тети Крыси возвышался на собранных в высокий узел волосах как островок неподкупной добродетели.

— Обычное шарлатанство! — снисходительно объяснял посетителям кафе преподаватель мужской гимназии пан Вабищевич, который любил помечтать за чашкой кофе в упомянутом кафе о своей тайной любви к гордой дочери губернатора, о коей любви было известно всему городу Б*.— Наш бывший сотрудник пан Капуцкий устраивал спиритический сеанс. Посадил всех за круглый стол, заставил держаться за руки, зажег эфирный спиритус, и раздался голос Наполеона. Выяснилось, за портьерами стоял учитель физкультуры... Глупости, господа! — романтические тонкие усики Вабищевича скептически шевелились.

— Три рубля билет! Тратить такие деньги на всякое озорство! — пожимала плечами мадемуазель Горобец, чернявая незамужняя толстуха, которая недавно перебралась в город Б* откуда-то из-под Черновцов и открыла маленькую швейную мастерскую под шикарной

вывеской: «Пошив элегантных платьев и торжественных костюмов». — Такие сеансы очень опасны! На них происходят вещи, невыносимые для слабых нервов. Мой дорогой отец, полковник кавалерии, не одобрил бы подобные экзерсисы!

Мнению почтенного покойного полковника кавалерии пана Горобца, чьи жизнь и смерть произошли, к сожалению, за пределами города Б*, нельзя было возразить...

И как вы думаете, сколько пришло жителей города Б* на подозрительный сеанс пана Бурдейко?

Правильно, пришли все.

Небольшой зал Общества любителей трезвости оказался набит людьми, которые изо всех сил демонстрировали друг другу выражениями лиц, тонко рассчитанными жестами и многозначительным хмыканьем, что они здесь случайно и с вершины своего научно-правоверного кругозора снисходительно взирают на происходящее.

Пан Бурдейко оказался лысым и невысоким. Вокруг него чувствовалась мощная аура дешевого одеколона и сливянки, которая еще пару часов назад находилась в графине ресторане отеля «Эсперасьён». Четырехугольной шляпы с кисточкой не было.

Вышла на сцену и немолодая мадам Дельмар с пуком черных страусиных перьев на голове. Она уселась на стул посреди сцены, и магнетизер заговорил.

— Дамы и господа! Приятно видеть, что в городе Б* столько прогрессивных людей со смелым мышлением...

После комплиментов гастролер изложил научное обоснование существования бессмертной сущности человека, строение потустороннего мира, пользу общения с ним и горячо предложил присутствующим восстановить в памяти облики тех жителей потустороннего мира, с кем хотели бы поговорить. Исключительно научная терминология снизила напряжение в зале. «Биотоки», «экстраполяция», «гипермедиум» и «общение» своей успокоительной неясностью придавали мероприятию добропорядочный смысл.

И в эту коварную минуту каждый житель города Б*, разорившийся на три рубля, подумал: «Почему нет?» или «Может быть...».

— Вот вы, мадам, — обратился магнетизер к серьезной тете Крысе, чья высокая прическа под черным платком с блестками возвышалась в первом ряду. — У вас, наверное, есть в иномире близкий человек, которого нежно любили и с которым мечтаете соединиться в вечности... Вы хотели бы задать ему несколько вопросов, услышать его голос?

Тетя Крыся вздрогнула. Высота вдовьего величия не могла пошатнуться на глазах города Б*. И тетка неуверенно кивнула головой в знак согласия.

— Помните только, — зловеще предупредил Бурдейко, — что души, которые прошли сквозь ворота смерти, могут неузнаваемо меняться, и проявлять свою истинную сущность...

Медиум стал за спиной дородной Аманды и начал проделывать стремительные движения над ее головой с черными перьями, словно плыл против опасного течения. Перья на голове мадам Дельмар колыхались, одутловатое напудренное лицо застыло, подобно античной маске, глаза закрылись. Загробным голосом мадам рассказывала, что ее душа отделяется от тела и уступает его всем желающим свободным духам, которые будут изъясняться из его недр.

Пан Бурдейко объявил, что видит, как в тело ассистентки вселяется дух, вызванный горячим желанием зрительницы из первого ряда.

— Я здесь, любимая женушка! — хриплый голос, совсем не похожий на неуверенный тенорок покойного ветеринара, доносился не из кроваво-красных губ мадам Дельмар, а, казалось, откуда-то из ее живота.— Ты слышишь меня?

Тетя Крыся жалобно улыбнулась, попыталась взглянуть по сторонам в поисках поддержки, но встретилась с жадными любопытными взглядами и смутилась. А голос все взывал:

— Женушка моя! Слышишь меня?

Тетя Крыся неуверенно произнесла:

— Да-а...

— Я скучаю по тебе, женушка, — продолжал вещать неузнаваемый голос Юзьки.

А растерянная тетя Крыся уже без внутреннего сопротивления принимала многочисленные красивые слова, что произносил покойник, который при жизни ничего подобного не говорил, да и не умел такого говорить. Иногда дух ошибался, например, когда рассказывал, как часто дарил любимой женушке цветы, — простоватый Юзька был на такое не способен. Но теперь в воображении вдовы умерший муж предстал другим, и все эти слова о цветах и страстных поцелуях — конечно, все было! Так, как мечтала в девичестве! Все было, просто она забыла... И ветеринар был не сутулым лысоватым недотепой, а стройным дородным мужчиной с тем именно взглядом, от которого у настоящей женщины сладко щемит в груди... И от внезапного осознания, что этот красавец, на которого она имела

исключительное право, теперь бестелесный дух, сидящий в животе ассистентки медиума, тетя Крыся неожиданно громко всхлипнула...

Пан медиум сейчас же перестал махать руками над головой Аманды и объявил, что в тело реципиента может вселяться следующий дух... Вот, например, тот, о котором так настойчиво думает этот молодой господин с усами... Пан Вабищевич не успел возразить, как из живота мадам Аманды раздался голос, по всей вероятности, того, о ком думал пан Вабищевич. А думал он о своей тайной любви. Почему красавица Мэри, которая в это время сидела за пианино или книгой в одной из комнат губернаторского дома, взывала к нему с того света, — Вабищевич и не думал, ошеломленный волной нежности и страстного чувства. Оказалось, недоступная Мэри страдает без учителя Вабищевича, думает о нем постоянно и мечтает соединить когда-нибудь свой вечный дух с его...

Теперь духи начали сменять друг друга в Амандином теле очень быстро. Ростовщику Губерману, который похоронил четырех жен, одна из них (неизвестно, которая) пообещала отплатить на том свете нежностью и заботой, которые имела от него на земле. Губерман побледнел и долго вытирал большим клетчатым платком мокрый лоб. По настойчивым просьбам присутствующих мадемуазель Горобец должна была перемолвиться словечком со своим почтенным отцом-полковником кавалерии, о котором каждый день слышали из уст мадемуазель. Как последняя ни отказывалась беспокоить столь важный дух, он появился и самым трогательным образом начал убеждать дочь в своей нежной любви, призвал отбросить гордость и предрассудки и не отвергать любящих ее близких лиц и не упускать своего счастья. Однако мадемуазель Горобец почему-то не расчувствовалась и, яростно обмахивая маленьким веером покрасневшее лицо, сердито смотрела на магнетизеров.

А духи слетались, как мухи на мед. Они были красноречивыми, добродетельными, величественными и переполненными любовью к живым. Присутствующих охватил болезненный ажиотаж. Каждому хотелось продемонстрировать, что его умершие не хуже других. После возбуждение сменилось боязнью. Соблазненные жители города Б* не осознали, но почувствовали, что неосторожно привлекли в свой город сотни мертвецов, которые до сих пор спокойно занимали отведенные им ниши и довольствовались панихидами и венками. Теперь они блуждали между живыми и требовали внимания к себе. Прошлое реставрировалось, как церковь, в которой фрески четырнадцатого века, суровые, строгие, потрескавшиеся, замазали приятной глазу

белой меловой краской, на которой хорошо смотрятся изображения розовощеких херувимов с позолоченными кудрями.

Но прежде чем боязнь присутствующих сказалась внешне, опытный гастролер прервал сеанс, вернул душу ассистентки на законное место, еще раз одобрил прогрессивных жителей города Б*, раскланялся и исчез навсегда вместе с мадам Дельмар и саквояжем с деньгами...

Наутро город Б* трясло от слухов. Перед церковью, перед костелом и перед синагогой рассказывали, что тетя Крыся срезала все розы в своем палисаднике и отнесла их на могилу ветеринара; что учитель Вабищевич ворвался в губернаторский дом с непристойными криками; что ростовщик Губерман сворачивает дело...

Одна мадемуазель Горобец не комментировала спиритические события.

Городом Б* правили мертвецы. Люди проходили мимо костела, синагоги, церкви и трактира и направлялись на кладбище. Там смотрели на кресты, каменные столбики, бумажные венки, но связь между привычными приличными атрибутами и тем неизвестным, что было закопано под ними, оборвалась. Могилы напоминали пустые коконы, а неизвестные существа, что вырвались из них волею проклятого гастролера, летали над лопухом и чернобыльником, над белесыми головками детишек и лысинами солидных дядек, совершенные, вечные, любящие... Ощущение было как во время жары на лесной тропинке, когда к потному телу липнут оводы и паутина, зудят над ухом комары, а в глаза лезет наглая мошкара...

И город Б* начал освобождаться от своего кошмара. В зале городского театра силами преподавателей мужской гимназии и реального училища организовали лекцию о шарлатанской сути спиритизма. Пан Бурдейко и его грузная пассия — просто рядовые чревовещатели, и никаких духов они не вызывали, а говорили подготовленными фразами, чему свидетельство — многочисленные несуразности. В храмах всех конфессий осуждали тех, кто пытается общаться с духами, так как по своей греховной земной сущности удостоятся лишь визитов демонов. И, наконец, небесные силы послали последний аргумент — номер губернской газеты, в котором сообщалось, что среди жертв железнодорожной катастрофы на станции Н* был известный спиритуалист Б-ко со своей женой и ассистенткой, с которой направлялся на очередные гастроли в Малороссию.

Вот вам и «вечная тайна»...

Жизнь крутила свои неторопливые жернова, и все стало осколками, прахом, тенью...

Покойники вернулись в гробы под бумажными венками и стихотворными надписями, в корчемке застучал бокал о бокал: «Вечная память!".

Умершие утратили голос, величие и любовь, опять стали обычными, хворыми, лысыми, хромыми, придирчивыми, лживыми, слабыми... Ничем не лучше живых...

Ростовщик Губерман женился в пятый раз. Мадемуазель Горобец неожиданно получила наследство и переоборудовала мастерскую, где сейчас несколько местных девушек строчили под ее надзором на машинках «Зингер», а сама мадемуазель, держа в дебелой руке с кольцами чашку с чаем, второй раскладывала бесконечные пасьянсы «Пирамида» и «Могила Наполеона». Пан Вабищевич тоже женился — на дочери преподавателя латинского языка, которую за глаза называли Верка-Прищепка. А тетя Крыся удостаивала своего ветеринара бумажным венком на Радуницу и панихидой в определенные поминальные дни.

За вечный покой в тот год было выпито втрое больше обычного. Вечная война мертвого и живого закончилась временной эфемерной победой последнего. Жизнь показала беззубой смерти розовый язык и содрала с прошлого фальшивые оборки...

Но...

Но никто не решился бы утверждать, что город Б* не жалел о тех мертвецах, рожденных в необъятным чреве шарлатанки Аманды, что черные страусиные перья не всколыхиваются время от времени над уравновешенной местечковой жизнью... И что такое три рубля по сравнению с вечной жаждой души — желанием чуда и бессмертия...

P.S. Ходил еще слух, будто были присланные на почту города Б* в качестве части наследства черноволосой мадемуазель Горобец многочисленные коробки и ящики, и будто был там саквояж, очень похожий на тот, который видели в руке спиритуалиста Бурдейко. А когда открыла мадемуазель большую круглую коробку, якобы колыхнулись там черные страусиные перья... Но мадемуазель Горобец с плачем склонилась над ними, так что определенно никто ничего не узнал...

ВОЗНЕСЕНИЕ ГАНИМЕДА

Юпитер похитил прекрасного юношу Ганимеда, сына троянского царя, и сделал его своим виночерпием на Олимпе.

(Древнегреческий миф)

Ну кому какое дело до того, что происходит на заднем дворе корчмы?

Понятно, что место это не самое подходящее для романтических свиданий, философских размышлений и дружеской беседы.

Тем более если посетители упомянутого заведения пьют много пива...

Однако задний двор знаменитой Бурыговой корчемки в городе Б* не подпадал под такое определение.

Хотя бы потому, что такого двора как бы и не существовало.

Любопытного встречал высокий плотный забор, справлять малую нужду возле которого мешал аккуратный глубокий ров. За забором виделись пышные кусты сирени — в отличие от сухих веток под окнами самой корчмы. Жизнь этого питейного заведения разделялась на две половины. С одной стороны, так сказать, с фасада, была непосредственно корчма, зал, полный посетителей, где звучала лихая музыка, пребывал сам пан Бурыга, солидный, усатый, громкоголосый; бокалы, штоф, резные дубовые столы и лавки, вечный шум и гам.

А с другой стороны... С другой стороны текла размеренная семейная жизнь Антона Бурыги, ибо нет у корчмаря иного дома, чем корчма, и у детей его не будет... И помогут ли тут заборы, рвы и собаки?..

Но постарался пан Бурыга, чтобы граница меж двумя его жизнями была как можно глубокой и непроницаемой. И никто не видел тетушки Марыси, завсегдатайки церкви и ярмарки, на той половине ее дома, где пилось, лилось и пелось. Не спешила она в качестве корчмарки-веселухи к нетерпеливым посетителям с пенными бокалами, не ругала безденежных любителей горилки, не подмигивала молодцеватым музыкантам, чтобы поддали страсти, чтобы заглушили чей-то тоскливый плач о невозвратной сладкой молодости и горькой взрослой жизни...

Хотя ели да нахваливали посетители блюда, приготовленные тетушкой Марысей, но не была она корчмаркой. Жужжала пчелкой на заднем дворе, обнесенном высоким забором, растила свои цветники и любимого сыночка-колокольчика, кудрявого ангелочка Данилку. А каким умненьким он рос! Ну разве место такому в корчме!

И собирал деньги Антон Бурыга, откладывал старательно, чтобы не имел сынок потребности в грешном трактирном ремесле, чтобы вышел в люди! Да не тут, в городе Б*, а где-то там, где не трактирчик, а большие рестораны с широкими зеркальными окнами, где живет дальний родственник, двоюродный брат тетушки Марыси,

господин Квятковский, который ходит в сюртуке и цилиндре, курит тонкие, как соломинка, сигаретки, а на вопросы о занятии с достоинством отвечает: «Я, брат, чиновник высокого класса, служу на благо обществу».

А пока младший Бурыга рвал рубашки с вышивкой в непролазных кустарниках, что на окраине города Б*, и возглавлял отряды несовершеннолетних здешних жителей в вечных мальчишеских войнах и других забавах, придумывать которые был большой мастер.

Четыре года учителя начального училища города Б* перед тем, как войти в класс, возносили Господу молитву, чтобы сегодня тот необузданный, избалованный корчмаренок лежал дома с ангиной. Но румяный Данилка выделялся хорошим здоровьем. И дотянул до окончания училища.

Тогда господин Антон Бурыга надел пиджачную пару, абсолютно новую, и шляпу, и лакированные ботинки и положил во внутренний карман пиджака толстое-толстое портмоне. И пошел к директору мужской гимназии города Б* пану Вередичу. Через неделю начинались вступительные экзамены в гимназию. Бедный господин Бурыга! Бедный директор — столько проклятий из уст потомственного трактирщика выдержит не каждый.

И по грамматике, и по арифметике, и по Закону Божию юный Даниил Бурыга получил оценки конкретные, но неудовлетворительные.

Оставалось два пути. Казенное реальное училище и духовная семинария. К сожалению, науки естественно-математические, которым отдавалось предпочтение в училище, были наименее доступны интеллекту Данилки, а стать священником... Антон Бурыга задумчиво смотрел на жизнерадостную физиономию сына и невольно скептически качал головой.

Оставалось надеяться на высшую справедливость. И она появилась — в лице упомянутого в начале дяди Квятковского, при цилиндре, сюртуке и тонкой сигаретке. Пан Квятковский чинно потягивал густое пиво шурина, отставив мизинец с огромным золотым перстнем, и поглядывал на скромно расчесанного на прямой пробор Данилку. Тот в новой вышитой рубахе тихонько сидел в углу и ждал решения своей судьбы, время от времени украдкой давя неосторожных мух.

— Хорошо, поедет со мной! Пристроим! — муха вырвалась из кулака обрадованного недоросля.

— Человеком будет! — счастливо плакала тетушка Марыся на базаре и перед церковью в шумном кругу женщин.

А посетители Бурыговой корчемки шепотом сообщали друг другу, что Данилка учится в самой Москве, под опекой дяди, такого важного пана, и сам будет паном, и будет гордиться им город Б* и особенно эта корчемка... Так выпьем же, господа, за здоровье наших детей, чтобы так же повезло им, как наследнику корчмаря!

И приезжал на летние каникулы в родной город панич Даниил, и с каждым годом круглел он и сытел, и блестело его лицо, а пробор в курчавых волосах был все более ровный и набриолиненный. Где там те рубахи с вышивкой! Сюртук, шелковая рубашка с галстуком, первые усики, первые сигареты! Хотя и стоило то учение порядком, результаты были налицо. Данилка со знанием дела давал отцу советы по лучшему устройству кабацкого дела, сам пересматривал расчетные бумаги. Речь столичного студента сейчас была пересыпана элегантными «чиво», «как-то так-то», «опридилённо». К местным девицам он обращался не иначе, как «мамзели», а к бывшим друзьям и вообще непонятно-изысканно: «Мон ами».

— Опридилённо, мон ами, — говорил Данилка внимательным слушателям, — есть у меня там хорошие перспективы. Дядя устроил при себе, как-то так-то и его место займу...

Что это за место, чем занимается Данилка в городе, никто точно не знал, даже родители. Сам юнец отвечал уклончиво: «Мы по торгово-экономической части». Но ведь город Б* не был изолирован от этого «большого мира». Вот и директор мужской гимназии господин Вередич, что когда-то не соблазнился содержанием толстого портмоне трактирщика, посетил Москву... «А может, Данилку там встретит?» — мечтал Бурыга и представлял, как в какой-то важной конторе встретит гордый директор шикарного Данилку, и смутится, и как с равным поздоровается...

Между тем приехал «на побывку» и сам Данилка, который в свои восемнадцать выглядел на хороших двадцать пять.

— Вы, папаня, совсем отставши, — рокотал молодой басок сына.— Что это за музыка, вообче говорю, какие полечки... Вы бы заказали себе музыкальную машину. Ручку покрутил — и играет вальсу или романс. Вы, папаня, знаете, что такое вальса?

Умиленный Бурыга послушно кивал головой, однако и не думал что-то менять в отлаженном хозяйстве. Он справедливо считал, что корчма города Б* может быть только такой, какой предпочитали ее многие поколения жителей, со всеми ее деревянными скамейками и стеклянными штофами, с ее традициями и преданиями: о корчемном скрипаче Гирше, который переиграл заезжую мировую знаменитость, о пьянтосе Чаратиле, который целовался с русалкой и от того сделался

задумчив, о красотке Ксении, по отъезде которой пиво ее жениха, местного пивовара, три года горчило...

А как торжественно шло семейство Бурыгов к церкви в воскресный день! Как важно ступала маленькая кругленькая тетушка Марыся впереди своих крепких высоких мужчин! И совсем некстати было столкнуться у церкви с директором гимназии, и совсем непонятным был его ироничный поклон в сторону осурдученного Данилки, и не к месту снисходительные слова:

— А, молодой человек, не забываете, так сказать, родные пенаты? Московская служба хлопотная, да-да... Ну да каждому свое...

Но еще более непонятным было поведение Данилки, который при встрече с паном Вередичем рванулся было сбежать и, пожалуй, впервые в жизни растерялся, покраснел и потерял дар речи.

А на другой день засобирался «на службу».

Ну не дурак же был Антон Бурыга! Ведь смог же он удержать родительскую корчму и обустроить ее, и прибыль хорошую иметь. И не могли у него не возникнуть некоторые сомнения насчет таинственной учебы-службы сыночка...

И однажды закрыл Бурыга свою корчму, на горе местным завсегдатаям, и поехал в далекий город Москву, придерживая левым локтем толстый кошелек в глубоком внутреннем кармане пиджака. Что случилось с почтенным трактирщиком в том городе, точно неизвестно. По отдельным высказываниям обычно говорливой тетушки Марыси можно составить только приблизительную картину...

Шум и гул Москвы, наверное, не удивил потомственного корчмаря. А вот то, что по адресу, куда он столько лет отсылал деньги, находился ресторан, удивило, и неприятно. Дамы с обнаженными плечами, господа в изящных сюртуках исчезали за дверью, которую услужливо открывал бородатый дядька в шикарном мундире. Открыл он дверь и перед трактирщиком города Б*.

— Просю за столик,— молодой человек в белой рубашке и серой шелковой жилетке, с обернутым вокруг руки полотенцем вынырнул откуда-то сбоку...

Да, да. Данилка служил официантом в ресторане, где метрдотелем был его двоюродный дядя господин Квятковский. И что с того, что упомянутый Квятковский был там же во всей красе, при черном сюртуке, белой манишке и лакированных ботинках? Бурыга был не дурак. Он прекрасно понимал, что это — такой же корчмарь, как он, да еще в чужом кабаке...

К тому же Бурыгу звали посетители почтительно — «пан», а Квятковского в его сюртуке подзывали снисходительно — «человек!».

Ради правдивости заметим, что дядя пытался устроить Данилку куда-нибудь учиться, и пробыл Данилка какое-то временя в столичном учебном заведении... И не в одном... Но наука тамошняя оказалось совсем непробиваемой для провинциальных мозгов.

Зато в науке кабацкой Данилка был отличником.

И скоро случайному посетителю Бурыговой корчемки начинало двоиться в глазах: два трактирщика, с одинаковыми пшеничными усами на красных лицах, в одинаковых рубахах-вышиванках встречали его. Вблизи понималось, что один из корчмарей более молодой и резвый, и в речи его попадаются странноватые словечки.

— Чиво-чиво? Горелочки? А вот рекомендую винь-шампань, не хотите?

— Не стели языком, студент! — гремел бас старшего корчмаря, и младший покорно умолкал и подавал любителю водки желаемую рюмку, обязательно перекинув через руку белоснежное полотенце.

— Просю!

И что те заборы и рвы, которыми пытался бедный Бурыга разделить свою жизнь...

Эх, корчемка — со стеклянным богом повидаться, кованую свинку купить, как Мартин мыла, набраться, все забыть, и что не было, вспомнить, и — играйте, музыканты, пойте, музыканты, про того казаченьку, что поехал за поля-леса и не вернется никогда к девчоночке-голубке...

Стоит корчма в городе Б*, стоит — и будет век стоять такой, какой построили ее прапрадеды...

ОДИССЕЙ И СИРЕНЫ

Сирены - полуптицы-полуженщины, которые заманивают своими волшебными песнями мореходов на смертоносные скалы. Только Одиссей смог безнаказанно послушать их пение, так как приказал своим товарищам заклеить уши воском, а его самого привязать к мачте.

(Древнегреческий миф)

Город Б* трудно назвать Венецией. Даже синей майской ночью, когда его улочки затапливает море весеннего аромата, а темная листва сирени и жасмина со светлой пеной цветов и самому бедному воображению напоминает волны...

Нет, никто и никогда не сравнивал город Б* с Венецией! А между тем разве где-то еще на свете есть такие голосистые девушки,

разве где-то так пронизывает теплый вечерний воздух чистая, как лунный луч, песня? А ловкие парни города Б*, разве не похожи они на венецианских гондольеров, когда плывут их фигуры в праздничных вышиванках у палисадника дома, где живет особенно красивая панна, и витает над ними вечная песня весны и любви, которая не изменилась со времен Соломоновых?

Так, город Б* пел не менее (а вполне возможно, и не хуже) той Венеции…

Поэтому никого не удивило, когда Общество попечительства о народной трезвости города Б* объявило о создании хора. Кроме благотворного влияния песенного искусства на здешние нравы, хор должен был стать источником благотворительного сбора средств на поддержание тех нравов на соответствующей гордому городу Б* высоте.

Неровная сцена летнего театра, на которой вследствие протекания крыши и проваливания под ногами досок уже года три не было никаких театральных мероприятий, с благоговением встретила пятнадцать жаворонков города Б*, самоотверженных поклонниц искусства и, конечно же, народной трезвости.

А самоотверженное служение искусству (и тем более трезвости) не может не встретить отклика в искреннем неискушенном сердце…

Телеграфного служащего восьмого разряда Лютыся никто не назвал бы сведующим хоть в чем-то, так же, как город Б* не называют Венецией. Даже Лютысев отец, телеграфист со стажем, когда смотрел на своего потомка, который лениво перетаскивал из угла в угол кипы бумаг, а припухшие, словно вечно заспанные, глаза устремлял при этом плодотворном рабочем процессе к потолку, даже этот выдержанный, уважаемый человек с досадой стучал худым кулаком по столу:

— Наказал же Господь меня, грешного, таким кретином…

Ведь не проявлял Лютысь интереса ни к чему полезному, разве что к колдунам со сметаной. Окончил он четыре класса ремесленного училища и был устроен отцом на самую низкую должность городской телеграфно-почтовой службы…

В летний театр городского парка Лютысь попал потому, что начался дождь, что в кармане была припрятана сигаретка, и встречаться ни с кем не хотелось. Ведь все встречные всегда чего-то от бедняги Лютыся хотели —чтобы он вежливо поприветствовал, застегнул воротник, рассказал, где был вчера в полдень или позавчера вечером, и почему у него такой отсутствующий вид… Нет, лучше посидеть в тихом спокойном месте…

Но на этот раз место не было тихим... В сыром помещении, отражаясь от полусгнивших стен размытым эхом, грянули голоса хора попечительства народной трезвости...

Лютысь хотел было бежать, но почему-то не смог. Они все были здесь, на сцене, — и черноволосая паненка Анеля, и белокурая курносенькая Юзька, и рыжая кудрявая Антя... Они пели для него, единственного слушателя, недотепы Лютыся, и как пели! Райские птицы, облака из миндального крема, золотые купола и кедр ливанский являлись на просторах Лютысевой души!

Лютысь никогда не был в театрах, но знал, что после представления надо хлопать в ладоши... Участницы хора, зарумянившиеся, скромно поклонились... Их руководитель, молодая жена учителя литературы мужской гимназии, строго потребовала тишины, взмахнула руками, и под дырявый потолок взмыла новая песня...

Так Лютысь начал посещать все репетиции нового хора. Конечно, он и раньше слышал разные песни. И от матери, и от местных девушек... По сравнению с пением хора это было что домотканое покрывало в клеточку перед магазинным ковриком с очаровательными пастушками в гирляндах из роз... Кто предугадает, как и когда красота постучится в его душу? Хористки пели чудесные песни о золотых тучках и суровых скалах, о несчастных сиротках и милосердных дамах, наконец, о любви, так небесно и совершенно, что Лютысь не понимал и половины слов.

Хористки быстро привыкли к преданному поклоннику, который не уставал после каждой песни бить в ладоши и так искренне переживал за каждую их ноту. Его посылали купить леденцов или пирожков с капустой, просили принести бутылочку сельтерской воды для чистоты голоса. Никто из знакомых не узнал бы здесь Лютыся — вечно сонное, безразличное лицо горело таким энтузиазмом, что приходит только к несовершеннолетнему юноше, который впервые попал на репетицию женского хора.

Удивительно, но хотя Лютысь боготворил своих певиц, каждая из них порознь как бы не интересовала его. Ни чернявая Анеля, ни белокурая Юзька, ни даже рыжая кудрявая Антя... А ведь наверняка кого-то из них он встречал, и даже не раз, и вне сцены летнего театра. Но его равнодушный взгляд всегда уходил мимо, в то место, где сияют золотые купола и поют райские птицы... Где витает звонкоголосый херувим с пятнадцатью прекрасными головками...

Весна из всех сезонов года протекает быстрее. Кажется, только-только закрутило головы, раскачались сердца в ритме первых дождей, а уже осыпался яблоневый цвет, и птицы, угнетенные

семейными заботами, умерили трели. Попечительство народной трезвости организовало первую вечеринку по благотворительному сбору средств на... История не сохранила сведений, на что именно, но ведь мы с вами не сомневаемся, что это была достойная, плодотворная в деле поддержания народной нравственности цель.

«Гвоздем» вечера должно было стать выступление хора.

Ах, как они волновались, как гладили белоснежные воротнички и манжеты, а на юбке неожиданно обнаруживалось пятно, которое сейчас же пытались вывести с помощью соли и утюга, а в это время из завитков выпадало две папильотки, а папаша замечал, что папильотки скручены из сегодняшних непрочитанных «Губернских ведомостей», и в довершение противная кошка (или младшая сестренка) сбрасывала с тумбочки духи... А в горле невыносимо щекотало, и сжимало, и жгло...

Лютысь сидел в четвертом ряду почти шикарного городского клуба, в мундире телеграфного служащего, застегнутом под самое горло, и снисходительно смотрел на пеструю публику. А публика действительно была пестрой — кроме активистов движения за гигиену, санитарию и, конечно, народную трезвость были приглашены представители того самого народа — рабочие с мануфактуры и пивоварни. Лютысю ужасно не нравилось, что вместо того, чтобы затаить дыхание в ожидании чуда, многие перешептывались, пересмеивались и даже хохотали.

Но почему они не замолчали, когда запел хор?

— Блеют, словно козы некормленные...— сердито отозвался какой-то грубиян за Лютысевой спиной.

Лютысь как раз выучился кроме хлопанья в ладоши громко кричать «Браво!» и «Бис!». Но все-таки не так громко, чтобы заглушить все недовольные голоса, смех и свист. А хор между тем старался изо всех сил. И панна Анеля, и панна Юзька, и рыжая Антя, изящно сложив белые ручки перед собой, подобно мраморным ангелам на католическом кладбище города Б*, старательно выводили рулады о золотой тучке и бедной сиротке...

— Ну сколько можно нудить? Еще в программе чтец и пианист. А когда же танцы? — возмущался несознательный народ.

Но на сцене пятнадцать голосов вдохновенно затянули романс...

Так, при взгляде в этот момент на публику городского клуба самый мечтатель согласился бы, что город Б* едва ли Венеция. Из-за кулис краснолицый чтец с набриолиненными усами отчаянно

размахивал книгой рассказов Чехова в знак руководительнице хора заканчивать выступление.

Вот и растаяло чудо... Развеяно волшебство... Разве хватит у кого-то силы сохранить свой волшебный остров, когда любящие ближние доходчиво объяснили, что он — только кочка посреди местного болота? Они же такие заботливые и умные, наши ближние... Они всегда оберегают нас от ненужных, пусть и красивых, заморочек.

На следующий день должна была состояться очередная репетиция. Семь самых стойких к жизненным неудачам барышень, которые сегодня только и пришли в пустой летний театр, грустно затянули про золотую тучку под суровые взмахи рук руководителя. Плач ветхозаветного пророка Иеремии о разрушенном Иерусалиме и стон посетителя Бурыговой корчемки о полной, опрокинутой на пол кружке пива — ничто по сравнению с той небесной тоской, с тем тоскливым сожалением, которыми трепетали оскорбленные грубой реальностью голоса поредевшего хора попечительства народной трезвости. Вот последний звук растаял под дырявой крышей. А возможно, сквозь те дыры, на заделывание которых скупой городской совет не выделяет средств, поднялся тот звук высоко-высоко, вплоть до небесного престола, где поют райские птицы на облаках из миндального крема...

И то ли из тех облаков, то ли из темного угла сырого помещения летнего театра грянуло:

— Браво! Бис!

Верный Лютысь стоял и упорно бил в ладоши, неуклюже прижимая к себе локтем большой букет хризантем.

И пусть где-то в больших блестящих залах примадонны с непомерными бюстами получают розы корзинками.

Разве это красиво — розы в корзине?

И хор возобновил свои репетиции. И решался на новые и новые выступления... И скромный телеграфный служащий восьмого разряда всегда сидел в четвертом ряду справа и кричал свои «браво» и «бис» и искренне переживал за каждую нотку... И бегал по личным просьбам за леденцами, а к Рождеству и Пасхе обязательно получал целую кипу салфеточек, вышитых незабудками или голубками. Так что Лютысева мать, громогласная крепкая женщина, рассматривая презенты, растроганно вытирала слезу и думала: «Вырос... Скоро женится...».

Лютысь не обращал внимания, когда менялись хористки или когда очередной знаток во время их выступлений хватался за голову. Ну и пусть хватается, если это у него слабое место!

Ибо херувимы поют на грешной земле только для избранных. И даже в городе Б*.

ПИГМАЛИОН И ГАЛАТЕЯ

Скульптор Пигмалион сделал из мрамора прекрасную девушку Галатею и влюбился в нее. Боги посочувствовали его великой любви и оживили статую. Галатея стала женой Пигмалиона.

(Древнегреческий миф)

Город Б*, любимый мой город Б*! Как часто скучаю по твоим мощеным улицам, и даже немощенным, что превращаются во время дождей в сплошную грязную кашу. Так что приходится приличным паненкам жертвовать чистотой своих высоких ботинок на шнуровке, на изящно изогнутых каблучках...

А паненкам надлежит ступать по цветам и облакам! Очередная грязная лужа одарила мокрым клеймом модные, в желто-зеленую клеточку, брюки учителя рисования женской гимназии города Б* пана Ромуальда. О, провинция! Где твоя поэзия?

Но волшебные темные глаза дочери директора Сельскохозяйственного банка города Б* Софьи Шкудрович, пышнотелой, белокожей богини Софьи, портрет которой должен был к ее восемнадцатилетию пополнить галерею семейных портретов Шкудровичей, несомненно таят в себе бездну романтики! Бездну страстей и тонких чувств таят они! Стоит только пробудить все эти бездны — ибо невостребованным в мещанской шкудровичской среде им было бы суждено спать долго и безнадежно. Если бы не он, вольный художник...

Пан Ромуальд самодовольно подкрутил свои тонкие усики, которые обычно топорщились, как у жука, и снова угодил штиблетом прямо в огромную лужу. Но от волнения даже не заметил этого, как не заметил грязной Ниагары, что снова поползла по брюках, как не замечал баловства своих учениц, как не замечает насмешек темного окружающего люда: "Ромка-мазила аптекарский по лужам чешет, как со свадьбы".

Ведь это как раз и есть свойство истинно творческого человека — видеть то прекрасное, чего еще нет, и не замечать того отвратительного, что есть вокруг. И есть, к сожалению, столь ощутимо...

Как, например, жених прекрасной темноглазой девицы Софьи, рыжий толстый Ганька, наследник мануфактурной фабрики. Сидит это воплощение банальности на диване, сонно прищурив глаза, наблюдает, как под вдохновенной кистью пана Ромуальда (который

на самом деле действительно есть сын местного аптекаря, называемый от рождения Ромка), вырисовываются на сером холсте античные черты невесты... Но разве он знает даже такое словечко — античные!

Ах, как ненавидел пан Ромуальд семейные портреты Шкудровичевского рода! Со стен гостиной смотрели физиономии, что напоминали о полных кадушках и копилках, конкретном здоровье и устойчивой психике. Неужели белые пальчики с розовыми ноготками панны Софьи когда-нибудь станут столь же похожими на сосиски, унизанные кольцами... Нет, такого нельзя допустить! Недаром же панна Софья ходила два года назад на курсы декламации к столичному артисту, что застрял в городе Б* по причине скоропалительного опустения карманов. Значит, горит в ее душе искорка искусства! Только разжечь ее...

Совершенная эрудиция позволила пану Ромуальду составить четкий план пробуждения духовной сущности панны Софьи. Каждый вечер допоздна бедный художник сидел в своем излюбленном кресле, со специальной сеточкой на набриолиненных усах, подкрученных кольцами, и на волосах, разделенных ровненьким пробором, молча шевелил губами, время от времени вскрикивал что-то непонятное, вроде "О, богиня! Вспомним великого Леонардо!". Старенький аптекарь Лёйза, вздыхая, выходил из своей комнаты и осторожно ставил перед мечтательным сыном стаканчик с микстурой "Сад моей бабушки", самым надежным средством от меланхолии. Пан Ромуальд одним глотком выпивал жгучую жидкость с приятным ментоловым запахом и нетерпеливо махал отцу рукой.

— Ромка, а Ромка, тетя Алиция звала в гости в субботу. Мурочка придет, помнишь, такая рыженькая, веселенькая?

Пан Ромуальд возмущенно хмыкал, и отец, качая головой, шел в свой закуток, заставленный разноцветными бутылочками, ретортами и пробирками. А пан Ромуальд продолжал интеллектуальную подготовку к очередному сеансу позирования, точнее, к лекциям, сопровождавшим их. От библейских мотивов, "Песни песен» Соломона и Вирсавии разговор зашел об истории Абеляра и Элоизы, Данте и Беатриче, Ромео и Юлии, параллельно описывались жизни героических женщин — Гипатии, древнегреческой женщины-астронома, замученной фанатиками, Жанны д’Арк, спасительнице Франции, местном врачt Саломее Пильштыновой, что лечила и жен султана, и российскую царицу. Панна Софья не заканчивала гимназии, хотя родители попытались как-то отдать ее в лучший частный пансион города Б*, который держала строгая мадам Касио. В

летописи города Б* не сохранилось достоверных сведений, то ли сама изнеженная паненка запросилась домой от чудовищных трудностей обучения в пансионе, то ли терпеливая мадам Касио, хотя и привычная к капризам богатых родителей и их детишек, не выдержала поведения милой Софьюшки, но долгое время любящие родители нанимали для своей кровиночки гувернанток. Причем менялись они каждый год, а то и по несколько раз в год. Библиотека Шкудровичей состояла из нескольких сотен толстых, одинакового размера томов в таких красивых, дорогих переплетах, что раскрывать их считалось явно излишним. В результате господин Ромуальд имел дело с девственно чистым сознанием панны, не испорченным интеллектом. Что давало ему возможность привносить в известные сюжеты плоды собственной фантазии, особенно в рассказы о своем обучении в Санкт-Петербургской рисовальной школе.

Вывод из всех рассказанных историй, однако, имелся один: чтобы спасти живую душу, следовало вырваться из мещанской среды, найти родственного себе возвышенного спутника (кого же, как не его, пана Ромуальда?), и двинуться по жизненном пути, усыпанном цветами и терниям, к звездам или куда уж удастся дойти-долететь окрыленным личностям.

Хотя бы до ближайшего большого города, где, несомненно, настоящий художнический талант найдет себе признание, а его модель будет прославлена так же, как возлюбленная булочница Рафаэля, воплощенная в бессмертных образах Мадонны.

И ей-богу, Ромуальдовы речи давали плоды. Панна Софья даже перестала во время сеансов есть изюм и давиться от смеха при взгляде на закрученные кольцами усы и великолепный бархатный бант-галстук художника. Правда, по-прежнему оставалась бессловесной, как истинная мраморная богиня. Но ее глаза говорили лучше всяких слов! Ах, как многозначительно смотрели они на пана Ромуальда! Да что говорить, если даже рыжий Ганька больше не засыпал на сеансах позирования невесты.

И вот сегодня — последний, решающий день! Как ни оттягивал пан Ромуальд момент завершения портрета, дальше тянуть было невозможно. Несколько заключительных мазков — и сребреники Шкудровича перекроют аптекарскому сыну доступ к банковской наследнице.

Панна Софья позировала, как всегда, в оббитом синим бархатом кресле, в белом шелковом платье с кружевами, как морская пена. Весь товар средней величины ювелирного магазина пошел на украшение шеи, рук, ушей, прически и других деталей барышни, так

что богатство рода Шкудровичей должно было быть достойно отражено и на портрете его последней представительницы. Рыжий Ганька скромно сидел на стуле в углу и крутил в толстых пальцах дорогие золотые часы. Проклятые символы богатства!

Пан Ромуальд тронул розовой краской щеку нарисованной богини. Сегодня или никогда!

Так, никогда больше в Шкудровичевом доме не звучали такие пламенные, вдохновенные рассказы о высочайшем призвании человека, отповедь проклятому богатству и печальному существованию в мещанском мире. Краска капала с кисти на ботинки художника, на пышные ковры с розами — разве эти розы можно сравнить с настоящими! Набриолиненные волосы пана Ромуальда сияли, как поверхность концертного рояля, усы перестали завиваться колечками и снова воинственно торчали.

— До чего мне нужен сейчас альбом Рубенса! Я бы усовершенствовал свои последние правки... Как бы мне этот альбом получить поскорее? Видел его в библиотеке, на нижней полке. Он такой большой, в желтой обложке, на нем так и написано — Рубенс. Прислуга может спутать, а я не настолько свободно чувствую себя в этом благословенном доме...

О, как хитро, как долго и тщательно отрабатывал господин Ромуальд эту фразу! Высокое чувство, несомненно, пробудило его способность к тонким интригам. Простак Ганька послушно поднялся и пошел искать альбом таинственного Рубенса. Наконец настала решительная минута — один на один... Договориться о последнем свидании — и...

— О, панна Софья! Не нужно уже лишних слов, сегодня в полночь ваш верный рыцарь будет ждать вас у крыльца, что на заднем дворе, возле куста красной смородины. И не нужно брать с собой ни бриллиантов, что есть слезы бедного народа, ни золота, так как оно запятнано чужими потом и кровью... Разве что немного, на первые затраты, ну там, квартиру нанять, краски масляные купить...

Панна Софья несколько раз моргнула длинными ресницами и низким голосом произнесла:

— Шо?

Пан Ромуальд немного растерялся. Пробужденная красота должна отвечать немного другими словами, и, по крайней мере, более распространенно... Но она стесняется, ну, да! О, эта несравненная девичья скромность! Пан Ромуальд даже переступил от волнения тонкими ногами, обтянутыми тканью в зелено-желтую клеточку,

словно изобразил изящную фигуру придворного танца, и схватил барышню за обтянутую кружевной перчаткой ручку:

— Я с самыми честными намерениями, панна Софья! Помните, как Елена Фоурман держала кисти своего мужа, художника Рубенса? И мы с вами... Вы со мной...

Панна Софья выдернула из слабых рук художника свою руку и привстала:

— Ты шо, мазила, пьяный? Целый месяц голову забивал всякой ерундой, Клипатры, Ляизы, Биатричи... Говорила папане, чтобы не скупидомничал, нанял нормального художника. Еканомия, еканомия... Голодранцев всяких только в дом и пускать! Папаня, папаня! Шо скажу!

Панна Софья пренебрежительно оттолкнула беднягу Ромуальда, как предмет мебели и, позванивая ювелирными украшениями, широкими шагами покинула импровизированную мастерскую.

Пан Ромуальд ошеломленно сидел на роскошном шкудровичевском ковре с ненастоящими розами, не в силах осознать свое поражение.

— Пан Ромуальд, вот он... Рубенс! Кажется, тот самый, смотрите!

Здоровяк Ганька почтительно наклонился над поверженным художником с объемной книгой в руках. Аптекарский Ромка высморкался в свой бархатный бант-галстук и медленно поднялся:

— Не надо... Ничего уже не надо...

— Вы... закончили портрет?

— Да... Окончил...

Пан Ромуальд хотел уже выйти из комнаты, но Ганька преградил ему дорогу.

— Стойте, пан Ромуальд! Я должен вам сказать... Слышите?

Пан Ромуальд опомнился... Чего надо этому миллионщику? А, бить будет... Ромуальдова голова невольно втянулась в плечи. А Ганька продолжал взволнованно говорить:

— Я понял! Я хочу вырваться из этого болота! Деньги — прах, ничто, зло! Наше окружение — это среда кровососов и бур... бюргеров, а человеку нужна духовная свобода! Начать жизнь сначала никогда не поздно!

Произошла какая-то ошибка... Что-то перепуталось... Пан Ромуальд робко улыбался и пытался продвинуться к двери. Но Ганька возвышался на его пути, как Голиаф.

— Вы открыли мне глаза, господин художник! Вы знаете, я тоже... Ну да, по-дилетантски, конечно... Но рисую. Что та Зоська, она

глупая, ничего не понимает. Все Шкудровичи дураки. Ни за что не женюсь на этой толстухе. Никакой поэзии. Завтра же — в Париж, на мансарду! Как вы там говорили, фиалки Марма... Монро...

— Монмартра...— автоматически подсказал пан Ромуальд.

Ганька взволнованно схватил его за руку.

— Вы столько говорили о дружбе между художниками... Делиться последней коркой... Экспериментировать с цветом... Может, и вы со мной? Там девочки... Гризетки... На том Мармаре...

— Монмартре...— снова подсказал пан Ромуальд, и наконец осознал весь трагизм положения.

— Нет! Не хочу! Ничего не хочу! Да отвяжитесь же от меня!

Пан Ромуальд проложил себе путь к ретирации и бросился из проклятого дома, где он так обманулся, где погасли его мечты, как гаснет свеча от меткого плевка. И брюки в желто-зеленую клеточку опять беспардонно пятнила густая коричневая жидкость луж города Б*.

Шкудрович так и не заплатил за портрет дочери.

Ганька назавтра сбежал в Париж. Родители долго горевали, что слишком потворствовали сыну, и он лишился ума. Шлет странные письма, пытается отказаться от наследства. От прекрасной мануфактурной фабрики, которая дает гарантированный доход!

Правда, родственник губернатора, побывавший в Париже, говорил, что Ганька, хотя и живет как какой-то шалопай и даже отрастил бороду и длинные космы, но все же рисует, и даже его картины покупают. Хотя одни дураки их покупают — ведь понять, что именно на тех картинах изображено — невозможно, одни каракули. Родственник даже парижскую газетку привозил, где маленькими буквами в одном абзаце было набрано что-то про Ганьковы картины. Видимо, не самое одобрительное. Но, как ни говори, попасть в парижскую газету...

Панна Софья вышла замуж за владельца пивоварни города Б*, солидного молодого человека, который внешне напоминал беглого Ганьку, особенно телосложением.

Пан Ромуальд по-прежнему преподавал в женской гимназии рисование и пил микстуру "Сад моей бабушки".

Но никогда больше не брал частных заказов.

АХИЛЛЕСОВА ПЯТКА

Герой Ахиллес имел неуязвимой тела, за исключением пятки. Сын царя Трои Парис, который не отличался военными талантами, убил героя, угодив ему стрелой в это единственное уязвимое место.

(Древнегреческий миф)

Если честному обывателю города Б* не хватало собственных проблем, он начинал решать проблемы общественные.

Правда, стыдно признаться, таких счастливых людей в городе Б* жило немного. Большинство обывателей суетились в своих ежедневных личных делах, рождались, женились, ссорились, умирали, и знать не знали о новых веяния в цивилизованном мире. Кое-как действовали Попечительство о народной трезвости и Кружок любителей драматического искусства, и то благодаря хору и танцевальным вечеринкам. Несознательный народ населял город Б*!

Мадам Касио, содержательница пансиона благородных девиц города Б*, раздраженно отложила на ампирный столик газету. Даже в городе Н* создали Общество защиты женщин! А здесь — сплошной патриархат, темень.

Мадам Касио пользовалась уважением всего города Б*. Когда навстречу стремительно двигалась ее тонкая высокая фигура в черном платье с пышным кружевным воротником и манжетами, увенчанная куполом настоящей парижской шляпы, даже самый смелый служащий сельскохозяйственного банка — а о служащих этого банка говорили, что любого без рубашки оставят, — пытался свернуть, сделаться незаметным, как паутинка бабьего лета. Лишь бы только не наставила мадам Касио на тебя свой страшный лорнет, лишь бы не встретиться взглядом с ее светлыми, как льдинки, глазами... Ну и совсем горе, если направит на тебя мадам свой длинный черный зонт, когда прозвучит металлическое:

— О ваших манерах, молодой человек, я буду разговаривать с вашим рара.

Поэтому подписной лист по сбору средств на создание в городе Б* Общества защиты женщин подписали и сам губернатор, и полицмейстер, и даже директор сельскохозяйственного банка Шкудрович. Там, где металлический голос и лорнет были менее действенны, в беспроигрышную битву вступали серебристый голосок и застенчиво-лучистые взгляды молоденькой мадемуазель Нинель, преподавательницы музыки и пения пансиона мадам Касио. Мадемуазель Нинель, или в действительности застенковая шляхтянка Нина Горшкова, миниатюрная Сильфида в ореоле искусственных

локонов, смотрела на сомневающегося в деле защиты женщин с таким неподдельным ужасом, с таким душераздирающим укором воплощенной женственности, что самое каменное сердце должно было содрогнуться, а рука — потянуться подписывать письмо.

Никто не устоял перед двойным натиском активисток прогресса. Никто... Кроме Базыля Магарыша, владельца небольшого, но процветающего конезавода. Ах, какие лошади были у Магарыша! Сытые, гладкие, широкоспинные, словно созданные возить рыцарей в полном вооружении. Правда, покупали их для куда более прозаических нужд. Но лошади приносили не малый доход. И не удивительно — Магарыш, полковник-кавалергард в отставке, света не видел за своими гривастыми любимцами. Ни веселые друзья, любители холостяцких утех, ни прекрасные барышни города Б* с приданым различной величины не могли свести Магарыша с его сурового мужского пути. Иногда он и сам напоминал необъезженного рысака — седые волосы гривой, бакенбарды и усы неимоверной величины, ноздри раздуваются, ноги в кавалерийских сапогах нетерпеливо переступают, а на лице написано одно: говори, человече, какая нужда, да избавь меня от своего присутствия.

Но Магарыш, как владелец крупного (в пределах города Б*) капитала, не мог быть обойден в процессе сбора средств на новое общество.

Как пунцовели щеки у мадам Касио, когда она быстрым шагом в сопровождении заплаканной мадемуазель Нинель выходила из дубовых ворот Магарышева дома! Наверное, если бы попал в этот миг какой-то бедолага под прицел линз ее лорнета, испепелился бы, как волос над свечой.

Это было поражение. Мадам Касио собиралась печатать подписной лист по созданию Общества защиты женщин в губернской газете вместе со всеми собранными подписями... И среди них не будет подписи полковника в отставке Магарыша! Полковник славился не только диким нравом, но и тем, что мог щедрой рукой отвалить денег на полезное благотворительное дело. Например, на палеонтологический музей или атлетический кружок. Ходили слухи о необычных обстоятельствах ранней отставки полковника. Якобы он был заподозрен в симпатиях к чудакам, что не очень любили мощную империю, которая милостиво взяла под свое крыло здешний край... Да еще имел полковник дурную привычку вспоминать былые шляхетские вольности этого края и своих воинственных предков, сражавшихся под другим, забытым ныне знаменем... И то ли

Магарыш отказался отдать приказ в кого-то стрелять, то ли сам попал не в того...

«А из-за женщины, наверное, история была, потому и не любит женщин», — отмахивались скептики. Но и они почтительно кланялись и втайне завидовали, когда Магарыш пролетал по улице города Б* на своем любимом черном жеребце.

Но за пятнадцать лет существования пансиона никто не решился спорить с его директоршей.

Город Б* с интересом ждал исхода поединка.

Никакие попытки разжалобить сердце коннозаводчика не удались. Он не боялся городских властей, не заигрывал с женщинами, не напивался, что исключало наличие сердечных дружков, и не имел родственниц с твердым характером.

Основательницы Общества защиты женщин собрались в классной комнате пансиона благородных девиц. Между кофе и миндальным печеньем поговорили о детских яслях для грудных детей рабочих женщин, между горячим шоколадом и безе поссорились по поводу репертуара благотворительного хора. Когда принесли фрукты, всплыла неприятным пятном на радужном настроении присутствующих проблема — ненавистник женщин Магарыш. По городу Б* летало уже несколько его едких высказываний насчет «бабьей самодеятельности».

— Мужчина — существо примитивное, — твердо сказала мадам Касио. — Стоит только хорошо подумать и найти его слабое место. Давайте вспомним, что наше общество заботится не только о женщинах, но и о детях. Если эта особа равнодушна к положению женщин, так же ли отнесется к слезам невинного ребенка?

Невинное дитя, которое надлежало включить в очередную делегацию, нашлось, — годовалый малыш учителя естественных наук. Мальчуган был славный, щекастый. Его мать нравилась мадам Касио куда меньше — суетливая женщина, которая в нанятую мадам Касио пролетку приволокла еще и такую же суетливую пуделиху с мещанской кличкой Жужу.

Магарыш скрывался в своем летнем домике рядом с конюшней в предместье город Б*, там, где весной разливалось море яблоневого цвета. Мадам Касио, словно черный корабль, проплыла по засыпанной желтым песком дорожке, рассекая ароматные бело-розовые волны. В фарватере за мадам, словно за флагманским кораблем, испуганно двигались мадемуазель Нинель, учительская жена со своим потомком, наряженным в кружевной чепец неимоверной величины, и пуделиха Жужу. У дверей в логово

женоненавистника караван остановился. Дворецкий, бывший барский денщик, ни за что не хотел впускать в дом избалованную собачку: дескать, у пана живут здоровые гончие. А обладательница пуделихи ни за что не хотела оставлять свою ненаглядную Жужу одну на чужом дворе в подозрительном окружении. Мадемуазель Нинель пожертвовала собой и осталась стеречь взвинченную животинку.

Мадам Касио для поднятия боевого настроения вспомнила последний выпуск своих пансионерок, затянула растрепанные чувства в стальной корсет гражданского долга и пошла в наступление:

— Не ради чванства и славы, а ради детства! Оно смотрит вам в глаза, он требует вашей благотворительности! Вы отказываете в милости невинным деткам, которых Христос повелел почитать прежде всех, так как им принадлежит Царство Божие! — мадам тыкала пальцем, обтянутым черной перчаткой, в невинное дитя, которое упорно пыталось стащить с себя кружевной чепец. Но бессовестный коннозаводчик только иронично хмыкал да повторял:

— Мадам, моя специальность — лошади. Я не разбираюсь в женских организациях... Разве что в физиологическом смысле.

От подобных ударов косы о камень высекались искры. Несчастная жена учителя прижимала к себе младенца, словно скрываясь за него от молний, которыми швырялись боги-олимпийцы. И тут на дворе отчаянно взвизгнула собака, и сразу ее визг подхватил мощный собачий хор.

— Стой, собачка, стой! — вопила где-то мадемуазель Нинель.

— О, моя бедняжка Жужу! Я иду к тебе! — воскликнула хозяйка пуделихи, с умоляющим «О, мадам!.." сунула своего ребенка на руки директору пансиона и выскочила за дверь.

В комнате воцарилась тишина. Крики и собачий лай растаяли вдали. Мадам держала ребенка перед собой, словно амфору с редким вином. Стыдно признаться, но лицо мадам Касио почему-то не выказывало умиления. Магарыш также смотрел на милое дитя, которое успело стащить набекрень свой накрахмаленный чепец и обнажить круглую макушку, украшенную единственным завитым чубчиком, с каким-то сложным чувством.

— У-а-а-а-а-у!

Директорша чуть не уронила ребенка. Полковник в отставке ловко поддержал крикливого гостя на ее руках. А младенец горланил так отчаянно, с такой обидой на этот несовершенный мир!

— Успокойте его, мадам, — раздраженно буркнул Магаыш.— Вы же сами говорили, что возиться с такими недорослями — ваш гражданский долг.

— Я — директор пансиона для девиц, — твердо сказала мадам, делая ударение на последнем слове.— Я не имею опыта в воспитании младенцев.

— Эк орёт, — с досадой сказал Магарыш и позвал денщика. Но тот, видимо, тоже убежал по собачьим делам, которые напоминали о себе отдаленным лаем и женским визгом.

Мадам неуклюже качала подкидыша.

— А-та-та... Это он вас боится. Дети чувствуют нехороших людей...

— Перестаньте его трясти, он и смолкнет, — отрезал Магарыш и наставил на младенца два пальца козой: — У-тю-тю-тю-тю!

Малыш брыкнул ногой и попал затейнику в толстый нос.

Магарыш едва сдержал брань.

— Давайте его мне. Он же мужеского пола. Я скорее с ним найду общий язык. А то, ей-богу, уши закладывает. Парень, любишь лошадей? Хочешь на лошадке покататься?

Ребенок отчаянно сопротивлялся. Шляпа директорши, украшенная страусиными перьями, съехала набекрень и наконец совсем упала в сопровождении звонкого дождя шпилек. Мадам Касио раскраснелась, ее волосы, всегда стянутые в строгий узел, рассыпались золотистыми локонами. А глаза, не защищенные лорнетом, были такие растерянные... И светлые... Так что никто не узнал бы с первого взгляда мадам Касио. Да и сурового полковника Магарыша, скачущего по комнате, держа на плечах толстенького капризулю, в то время как мадам бежала за этой живописной группой, поддерживая маленького кавалериста.

— А вот мы на лошадке... На лошадке... Первый раз вижу женщину, которая не может справиться с ребенком! У вас что, никогда не было собственных детей? – пыхтел Магарыш.

— Можно подумать, у вас целая куча наследников! — огрызалась мадам.— Вы вообще одичали со своими лошадьми! Тише, не сбросьте малыша! Я, по крайней мере, стараюсь что-то дать хоть чужим детям. А вы?..

— А мне иногда кажется, что лошади более достойны жалости и понимания, чем люди. Ай, что-то за шиворот потекло...

Когда вернулась легкомысленная мать с взлохмаченной пуделихой на руках, оставленный ею столь коварно ребенок беззаботно спал на Магарышевом диване, а возле него сидели пан Магарыш в турецком халате и мадам Касио без шляпы, хотя с подобранными снова в узел волосами.

— Простите, простите, но на Жужу напала стая злобных грубых псов!

Мадемуазель Нинель также пропищала в свое оправдание:

— Я ничего, ничего не смогла сделать! Их отогнали только водой!

Мадам Касио с достоинством воздела шляпу, аккуратно заколола ее шпильками.

— Думаю, наш визит окончен.

Мадемуазель Нинель с удивлением смотрела на розовые пятна на щеках мадам и гадала, удалось ли ее воинственной руководительнице добиться нужного.

Пан Магарыш серьезно смотрел на молчаливую директоршу:

— До встречи, мадам.

Только счастливая супруга преподавателя естественных наук была полностью поглощена своими проблемами и ничего не замечала, пытаясь одновременно успокоить и рассерженную пуделиху, и разбуженного от сладкого сна и несказанно этим обиженного сынулю.

Если житель города Б* не мог справиться со своими заботами, он обсуждал заботы своих соседей. И таких случаев в городе Б* почему-то было почти столько же, сколько жителей. Поэтому конец холостяцкой жизни коннозаводчика Базыля Магарыша обсуждал весь город.

Одни жалели беднягу – взять в жены такую мегеру! Вторые удивлялись — каким путем проникло в кавалерийскую душу коварное чувство? На этот вопрос могли бы, наверное, ответить несовершеннолетние посетители яслей для детей работающих женщин города Б*, но, к сожалению, они еще не умели разговаривать.

ГЕРАКЛ У АДМЕТА

Однажды Геракл остановился у своего друга, царя Адмета, у которого недавно умерла жена Алкестида, выкупив своей жизнью жизнь мужа. Узнав о таком обстоятельстве, Геракл, растроганный гостеприимством Адмета, спустился в подземное царство и принудил Таната, бога смерти, вернуть Алкестиду в царство живых.

(Древнегреческий миф)

Вряд ли знали в богатых, каменных домах города Б* Мамоньку-шлопака.

Да и такого слова — «шлопак» — нет в ученых книгах.

Но в предместьях города Б*, в маленьких домиках под сенью лип и яблонь приходу шлопака радовались все. Потому что целый вечер в доме будет пересказ новостей — что интересного произошло в соседних местечках, что и почем продается на ярмарках, куда лучше идти, чтобы купить новые колеса или поросенка, где в мире началась война или прошло землетрясение... Короче, каждый простой житель города Б*, который вследствие неграмотности или в целях экономии не выписывал газет — а таких было среди обывателей местечка подавляющее большинство — мог получить от шлопака все интересные ему сведения. А шлопак никогда ничего не просил – покормят, так покормят, пустят переночевать — так пустят. Но приют и угощение имел всегда.

Откуда был родом Мамонька — никто не знал, казалось, он вечно ходил по окрестным деревням и местечкам. Даже возраста его нельзя было определить — такой прозрачный, без растительности на лице, мелкий человечек. «Божий человек», — говорили о Мамоньке некоторые, но другие им возражали: «Разве Божий человек бродит по базарам? Божий человек поет псалмы и продает кипарисовые крестики да чудодейственные иконки». А Мамонька и выпить не откажется, если поднесут. Но, что правда, в мешке Мамоньки всегда лежало Священное Писание — дешевое издание для простого люда, в серой бумажной обложке, да еще житие Алексея, Человека Божия, и молитвенник в дополнение. Если рядом не было свидетелей, шлопак доставал заветный томик и вслух, по слогам, читал, задумываясь над непосильными простому разуму фразами.

Но безусловно, что при взгляде в светлые-светлые, добрые глаза Шлопака, доверчивые до дурости, а может — до святости, каждый невольно терял настороженность. Мамонька всегда выполнял множество мелких поручений — передавал из деревни в деревню, из местечка в местечко чужие долги, небольшие посылки и письма. При Мамоньке не стеснялись обсуждать свои домашние проблемы, не боялись доверить ему покачать ребенка во время очередного ночлега.

Не один раз останавливался Шлопак в доме Петра Помидорчика, слесаря города Б*. Не сказать, чтобы богатом доме, хотя Помидорчик имел золотые руки — мог починить любое хозяйственное устройство, любой самый тонкий механизм — от музыкальной машины до золотых швейцарских часов. Но свои заработки спускал Петро быстро и безболезненно. А чего дорожить теми деньгами, помятыми вонючими бумажками и металлическими обшарпанными кругляшами, когда нет ничего дороже хорошего настроения, веселой песни и бокала густого пива, а место в царстве

небесном, как известно, ни золотом, ни серебром не покупается, а только праведной жизнью.

И хотя праведную жизнь Помидорчик признавал за ценность, жена его, круглолицая Наста по кличке Клецка, никак мужниной философией не могла довольствоваться. Ведь какая же праведная жизнь в трактирчике? Одно расточительство. Не для того она замуж выходила, чтобы из глиняных тарелок есть. Весельчак Петро подмигнет рассерженной женушке: «Эгэ, милая, хоть и с золота съешь, все в одно место выкинешь». Плюнет бедная Наста, перекрестится, а мужик уже за шапку — в корчемке музыка заиграла.

Да не сказать, чтобы были Петро с Анастасией наихудшей в мире парой. По крайней мере, шлопак Мамонька любил у них останавливаться. Хозяйка всегда угощала, оставляла ночевать. Хозяин же бесконечно расспрашивал обо всем на свете, причем наиболее любил слушать не о ценах на базарах, а о чудесах — петух снес яйцо, а из того вылупился маленький черный дракон, на ярмарке в соседнем уезде показывали восковых людей — точно живые, и даже шевелятся и крутят глазами.

Но на этот раз Мамоньку не встретила в Помидорчиковом дому приветливая хозяйка. Все двери нараспашку, куры забегают в сени и с опаской заглядывают в комнаты, в стекла бьются, как пьяные бродяги, жирные зеленые мухи, а на скамье под образами сидит Петро Помидорчик, и его красное лицо аж сморщилось от страдания.

— Али у хозяина зубы болят? — сочувственный тонкий голосок Мамоньки подействовал на печального Помидорчика как горчичная припарка.

— А братец ты мой, а головушка же моя пропащая! Грешный, грешный был, вот и наказал Боженька!

Помидорчик повис на тонком шлопаке со всей силой своего горя, так что Мамонька зашатался, не столько от тяжести, сколько от сильного запаха перегара. Душа у шлопака была чуткая и доверчивая и вскоре так же разрывалась от разделенного с хозяином дома горя.

Две недели назад в дом уважаемой вдовы Крыси пришли необычные гости: шесть женщин, преимущественно пожилого возраста, в темных длинных платьях и белых платках, плотно обвязанных вокруг головы, один хромой старик и высокий бородач в белой хламиде с толстенной книгой, которую он нежно прижимал обеими руками к груди. Странная компания целый день не показывалась на улице, только из окон тетки Крыси доносились протяжные, но мелодичные песнопения, украшенные мощным басом — видно, дюжего бородача. Соседи от любопытства млели. Но вскоре

смогли полностью удовлетворить свое любопытство — бородач пригласил всех желающих на духовную беседу. Это действительно оказался незаурядный человек. Может быть, даже пророк. По крайней мере, сам себя он так и называл. И проповедовал он вещи вполне понятные, хотя и сложные для воплощения: чтобы попасть в царство небесное, надо здесь, на земле, уподобиться Господу нашему и Его апостолам, а для этого немедленно распродать все свое имущество, выручку отдать ему, бородачу, который удостоился постичь небесную мудрость, и двинуться по грешной земле с проповедями упомянутой мудрости. Поклонницы в белых платках слушали своего пророка с таким умилением и преданностью, что казалось, вокруг того действительно распространяется неземной свет. Пророк щедро цитировал высказывания из толстой книги о конце света, и слушатели (в основном, правда, слушательницы) заливались слезами от осознания греховности и неминуемой гибели.

Правда, поплакав и пожертвовав святому человеку определенное количество семейных денег, жительницы города Б* покорно возвращались в семейное ярмо.

Все, кроме тети Насты.

Наверное, контраст между развеселым пьяненьким Помидорчиком и возвышенным суровым пророком был слишком впечатляющим для ее женской натуры.

Помидорчик вернулся из корчмы и увидел на столе пустую шкатулку, где Анастасия хранила остатки приданого — горстку серебряных рублей, два золотых кольца и золотые монисты. При кратком обзоре выяснилось, что исчезли и припрятанные в копилке деньги. На испуганный рев Помидорчика пришла соседка и сообщила, что Наста-Клецка подалась в святые сестры к бородатому пророку. Все попытки Петра вернуть жену к семейному очагу или хотя бы переговорить с ней разбиваются о железную стену духовной общности бородача, хромого и белых платков.

— Слушай, друг, копейку дам, сходи в тот проклятый дом, приведи ты мою глупую женщину с деньгами назад!

Через полчаса шлопак Мамонька с Помидорчиковой еще не заработанной копейкой в кармане стоял перед добротным домом пани Крыси, почтенной ветеринарской вдовы. Сквозь закрытые окна слышалось аллилуйя. Шлопак вежливо постучался. Аллилуйя не смолкло, но скрипнула дверь, и Мамонька увидел бородатого мага, который в прошлом году на ярмарке нанимал его сидеть в восковой фигуре и дергать за ниточки, чтобы фигура могла шевелиться. Маг

платил Мамоньке пять копеек в день и строго заповедал хранить тайну живой фигуры. А шлопаку что? Раз сказано — он так и сделает.

— Добрый день, господин маг! — от искренней улыбки Мамоньки бородача аж передернуло. — А я вот поручение имею...

В доме тети Крыси горели свечи. Восемь женщин, среди них хозяйка со строго поджатые губами и дородная Помидорчикова Анастасия, сидели на лавках вдоль стены и сверлили глазами шлопака. Плотно повязанные белые платки напоминали не столько о монастыре, сколько о больнице. Старик угрожающе расхаживал за спиной гостя, и его хромая нога придавала шагам ритм похоронного марша. Бородатый пророк, известный Мамоньке под именем Мага, возвышался перед щуплой фигурой шлопака как Самсон перед филистимлянами.

— Раба божья Наста выбрала себе праведный путь! — басил пророк. — Никакие земные грешные заботы не могут совратить ее! Аки Господь наш и апостолы Его, должны мы оставлять ближних наших из любви к ним же и идти по заблудшему миру со Словом Божиим...

Мамонька согласно кивал головой. Красиво говорил господин Маг, громко! Но долго...

— Извините, может, мы с пани Анастасией уже пойдем?

Белые платки злобно зашипели, бородач покраснел. А шлопак вежливо продолжал:

— И монисто свое, пани Анастасия, не забудьте... Пан Петро просил... И деньги...

Громкие обвинения тети Насты в адрес нечестивого мужа слились с возмущением всех присутствующих.

— Это сейчас божеские деньги! — горланил бородач.— Грешник Петр должен был не требовать их назад, а продать все, что имеет, и пожертвовать! Каждый, кто принесет сюда все свои деньги, спасется! Только пожертвованием денег можно добыть место в царстве небесном. А я — посредник в этом деле. Так и скажи всем, бродяга.

Шлопак невольно заволновался. Бородач говорил громко и доходчиво, но что-то не то. В шлопаковом издании Священного Писания не было такого вывода о деньгах... О любви к ближнему — было... О том, что не укради, — было. Не пожелай жены ближнего своего, имущества и так далее... Мамонька честно об этом и рассказал. Со священниками, школярами и другими осведомленными людьми пророк и не собирался дискутировать, но ведь здесь – какой-то недомерок... Громогласные аргументы пророка отлетали от

маленькой фигуры шлопака, как дождевые капли от зеленых листьев скромного крыжовника. Понемногу визгливые голоса женщин в белых платках и хромого помощника пророка стихли, слышен только был яростный рев бородача да вежливый тонкий голос гостя.

— Но ведь он правду говорит, — наконец сказала старшая из женщин, в прошлой светской жизни — торговка зеленью. — Что это за святость, если к пальцам деньги прилипают? Разве Христос с апостолами деньги собирали?

Бородатый пророк почувствовал, что теряет власть над своими кроткими овечками, и возвысил голос. Бедный Мамонька всегда страдал, когда кто-то при нем сердился, злился, ругался. А тут он сам — причина ругани! Но бородач явно говорил что-то вопреки заветной серой книжечке из шлопаковой сумы, каждое слово которой — книжечки, а не сумы, конечно, — запечатлелось на шлопаковом сердце, как десять заповедей на Моисеевых скрижалях. Кстати, еврейский Моисей тоже не был разговорчивым, попросту — так сказали бы, что у него каша во рту... Но не может земля быть без пророка! И город Б* не мог. Тонкий голос Мамоньки возвысился до вершины горы Синай... Конечно, в окрестностях города Б* не имелось горы Синай, но если бы была — там Мамоньковы речи непременно услышали бы!

И сняли просветленные женщины свои белые платки, и высказали бородатому вождю, что у каждой накопилось на него за дни скитаний, а от глаз местечковой тетки ничего не скроется! Ни тайное свидание с румяной молодкой, ни продажа ростовщикам отданных на покупку места в раю колец.

Даже хромой старик стукнул о стол кошелем с общинной казной:

— А мне ни разу похмелиться не дал!

Мудрецы мира давно сказали, что чем выше идол, тем легче его обрушить в пыль. Развенчанный из апостолов бородач исчез в осеннем полумраке. Обвинения утихли. Женщины молчали и растерянно смотрели друг на друга.

Шлопак, который и на минуту не потерял кроткой улыбки, поклонился в сторону жены Петра и умоляюще проговорил:

— Может, пойдете домой, тетушка?

Анастасия неловко осмотрела своих недавних сестер:

— Действительно же, в Писании сказано...

Ну, вот все и обошлось. Шлопак оказался в объятиях свежего сентябрьского ветра. Город Б* потихоньку готовился к встрече с вечерними сумерками. Меланхолически лаяли собаки. Помидорчик будет доволен. Копеечку дал не зря. Мамонька не собирался злоупо-

треблять его гостеприимством, только, идя, представлял, как тетка Наста зайдет в дом, усядутся они с мужем на скамейку рядом... Обнимутся...

— Как голуби... Чисто голуби... — шептал растроганный воображаемыми картинами шлопак.

Предместье города Б* кончилось, что подтвердил придорожный крест, обвязанный чистеньким рушником. За спиной слышались чьи-то шаги. Мамонька оглянулся и увидел... тетку Насту. В белом, плотно повязанном платке, со скрещенными на груди руками. Шлопак хотел спросить, почему это она не в своем доме, но слова застряли в тонком шлопаковом горле. За теткой Настой одна за другой из сумрака выплывали фигуры сестер в белых платках. Замыкал процессию хромой старик. Теперь они остановились и как-то странно смотрели на шлопака. Ну, что ж, может, людям куда понадобилось... Мамонька скромно ступил с дороги и зашагал по боковой тропинке. Оглянулся... Процессия след в след двинулась за ним. Бедному шлопаку стало немного не по себе.

Он остановился:

— А люди ж вы мои добрые... Куда ж вы?..

— Ты иди, иди, батюшка, не заботься... — ласково-ласково проговорила тетка Наста и низко поклонилась.

За ней начали кланяться другие.

— Иди, батюшка... Бог тебя ведет... И мы уж, грешные, за тобой...

Мамонька растерянно оглядел неожиданных спутников и наконец увидел, какие у них просветленные лица, как широко они улыбаются, как смотрят на него, шлопака!

Истерические перешептывания заставили Мамоньку задрожать:

— Настоящий... Истинный... Простой духом... Блаженный... Пророчествовать начнет... Кто будет записывать? Ты, Крыся? Карандаш, карандаш приготовь...

Мамонька на несгибающихся ногах двинулся по тропе и услышал, как за его спиной слаженный хор затянул аллилуйя. Вместо баса козлиным тенором выводил хромой.

Помидорчик так и не дождался своей Насты. Город Б* поговорил немного об этом и забыл — в каменных домах о новых апостолах ничего и не слышали, а в домишках предместий появлялись новые и новые заботы и чудные слухи. Тем более, корчемка — лучшая Помидорчикова утешительница и советница, быстро высушила его

слезы, а в скором времени и вынесенные из дома заблудшей Анастасией деньги были получены обратно почтовым переводом.

А еще через некоторое время извозчик, проездом из соседней губернии, передал Помидорчику и вовсе странную посылку — копеечку, завернутую в аккуратную белую тряпочку.

Сказал, от святого человека, которого в их губернии очень ценят за пророчества и аскетическую жизнь.

СЛОВО ЧЕСТИ

Начинались темные ноябрьские ночи — беззвездные, черные, как сама безнадежность, перевитые траурными лентами тумана. Андрусь слабел. Каждый шаг давался с трудом — все-таки простудился тогда, в холодной, засыпанной серебряной осенней росой лощине. Лошади жандармов топотали наверху, на холме, и нельзя было даже пошевелиться, чтобы почувствовать онемевшее от холода тело — будто оно само уже из тумана и мокрой земли. На почти голых ветках кустарников качались удивительными украшениями синицы, крупные капли сыпались с веток вниз, словно жемчужины из порванных бус, и Андрусю казалось, что этот нежный шум сейчас выдаст его. Но сами синички даже не тенькнули. Может, им передался страх человека?

Его искали уже вторую неделю. От их отряда осталось четверо — слишком мало, чтобы отбиваться, но для того, чтобы потерять надежду, — слишком много. Круг осады был плотным, но жандарм — не тысячеокий Аргус. Они решили разойтись в разные стороны – кого-то заметят, другие ускользнут. Конечно, чтобы после, в назначенном месте, встретиться и начать все заново. Андрусю выпало двинуться в сторону родных мест — это была сладкая мука. Не хотел даже в мыслях упоминать — «убегаю», «прячусь»... Когда-то не сомневался — приедет победителем, во главе закаленного в битвах отряда, отсалютует саблей-молнией перед крыльцом, на который выбежит Она... Анеля... В короне золотых кос, с серыми глазами, похожими на два чистые озера, в глубинах которых, однако, скрываются резвые русалки. И он поцелует ее, не сходя с коня, подхватит с земли — гибкую, легкую, такую желанную... Чтобы не выпустить из объятий никогда-никогда! Между ними все было решено уже давно. Их поместья рядом, родители дружат, и еще тогда, на Рождество, когда он отдал заплаканной краснощекой девочке в щедро усыпанном серебряной пыльцой костюме Метлушки своего миндального генерала с вкраплениями-изюминками — и готов был отдать в нежные ручки все свои игрушки, — еще тогда он решил: вырастет и завоюет... Конечно, красавиц, Прекрасных дам надо завоевывать. Тем более он огорчался, что совсем не был похож на мужественного воина, — волосы светлые, рост скорее средний, не богатырские плечи — хотя жилистый и выносливый. А разве бывает воин с такими наивными голубыми глазами! А она, уже девушка-подросток, смеялась над его

романтическими представлениями: любовь — это же не война, в ней осада ведется только взглядами, словами, цветами... А я не враждебная крепость, дорогой.

И он обижался и убегал на обрывистый берег речки... И снова возвращался — с цветами.

Анеля спрятала бы его, конечно. Ему так надо хотя бы одну ночь провести в тепле, высушить одежду... Выпить горячего чая... Он последние дни не мог даже позволить себе разжечь костер — по всем дорогам разъезжали солдаты, видимо, наведенные на его след мужиками из той деревни, куда он зашел, чтобы купить кусок хлеба. А мог бы отобрать — у него, несмотря на то, что это была смертельная опасность и, возможно, просто глупо, — за поясом под сорочкой был пистолет с одним патроном. Андрусь просто не смог заставить себя остаться безоружным — это значило все равно как признать себя побежденным. Пока у него есть оружие — он воин и восстание живет.

Андрусь думал обойти дорогие сердцу места. И даже сам не заметил, как направился именно в ту сторону — словно его вел истинкт затравленного зверя. В свой дом? Это невозможно — конечно, враги ждут именно там. Не оставили они без внимания и дом его невесты. Из-за этой опасности Андрусь последние два года даже не вел никакой переписки с близкими. Но есть, есть надежное убежище — там, где никто не догадается его искать. И даже сам Андрей ранее не ожидал, что соберется к этому человеку.

Это случилось как раз два года назад. Магическое слово «свобода» объединяло людей, и победа, казалось, вот-вот спустится к ним по серебряных облаках, и протрубит в золотую трубу, и взмахнет прозрачными крыльями над их землей, навсегда свободной. У Анели был день рождения. Его любимая пришла в этот мир ясным летним утром, когда поднимался белой пеной под окна боярышник и рассыпались на заброшенных тропинках сада маргаритки. И Андрусь не мог не прийти поздравить ее — с охапкой лесных душистых цветов. Гостей собралось немного — все хорошие друзья, никто бы из них не предал. Они снова играли в фанты и шарады, и даже в совсем детские игры — слепого кота, золотое кольцо, и те, кто проиграл, должны были поцеловаться через платок. Из леса был только один Андрусь. И поэтому совершенно непростительно, что он не расслышал, как к дому подъехали враги. Страшны были не жандармы. А тот, кто ехал вместе с ними, — друг по детским играм и сосед. Возможно, тот попал на вечеринку совсем не для того, чтобы схватить инсургентов, откуда ему было знать, что враг империи окажется там? Скорее всего, просто хотел поздравить Анелю,

прихватив подчиненных. Ничего удивительного — Валентин тоже любил сероглазую соседку. Это знали все, и прежде всего она сама, хотя очень часто случается, что предмет любви узнает о таком обстоятельстве последним. Но они подрались за Анелю, еще когда им было по четырнадцать, — и это не было похоже на обычную детскую драку. Сжав зубы, молча, упорно... Их, окровавленных и полуживых, растащили взрослые. Тогда Анеля, заплаканная, в испачканном платье — видимо, пыталась разнять драчунов, — и выкрикнула свое: «Больше не деритесь. Никогда! Я выбираю Андруся. Слово чести!». И Валентин, опустив глаза, под которыми «разгорались» сине-красные «фонари», пожал Андрусю руку. Как побежденный на честном турнире. И Андрусь искренне дивился, почему Анеля прислонилась к нему, ничем не выдающемуся, а не к Валентину, ведь тот олицетворял все те черты, которыми Андрусь хотел бы обладать. И высокий, и сильный, как камень, и волосы волнисто-черные, а взгляд темных глаз такой гордый...

Увидев, что этот красивый, уверенный в себе человек заходит в дом, Андрусь понял — это все... Сейчас главное — отвести подозрения от хозяев. Спрятаться? Первому пойти навстречу и сдаться, не оставляя за собой неловкости обыска, разоблачения, ареста?

Анеля встретила гостей в прихожей, видимо, принимала поздравления, надеясь дольше задержать. Наконец она вернулась к компании, где каждый пытался сохранить веселый вид, и от этого собрание выглядело страшновато. Девушка держала в руках красивый пакетик, перевязанный атласной розовой лентой, но казалось, пальцы ее оцепенели и вот-вот выпустят ношу на пол. Валентин с искренней улыбкой поздоровался со всеми, никак не выделяя Андруся, представил двух офицеров, прибывших с ним, пошутил, очень изящно и умно — Андрусь так никогда не умел, и ушел, поцеловав Анеле руку.

Андрусь почувствовал горячую симпатию к бывшему другу — как бывает всегда у честных людей, если кто-то, о ком думалось плохо, оказывается лучшим. Валентин был не из тех, кто служит за деньги или привилегии, — он действительно верил в то, что защищал, и никогда не скрывал своих взглядов, что и послужило когда-то окончательному охлаждению их дружбы. То, что он не выдал Андрея, был действительно благородный поступок, достойный уважения. Особое впечатление на парня произвела сообщническая веселая улыбка, которую Валентин адресовал ему на прощание. Бедная Анеля тогда испугалась сильнее всех — Андрусь тщетно пытался ее утешить.

На прощание она страстно прошептала ему: «Как зажжется первая звезда, жди меня в нашей беседке, на берегу речки...».

И он ждал, волнуясь, как будто от этого свидания зависела его вечная жизнь. А звезды зажигались одна за другой, а она все не шла... Наконец гибкая фигура, вся закутанная в белое, рванулась к нему из черемховых сумерек, и горько-сладкими, как ягоды черемухи, были ее поцелуи, потому что слезы катились по ее щекам, и ему было даже неловко — он же еще живой... А она будто прощалась навсегда. Ведь только отчаяние, наверное, заставило его сероглазую королевну шепнуть ему: «Пусть это будет наша брачная ночь!". Конечно, было бы с его стороны благородно и разумно — успокоить ее, уйти самому, удержаться на той грани, за которой начинается необратимость и безумие... Но он был всего лишь человек, и он так любил, что его руки дрожали от нестерпимой жалости и тяги к ней. И если это было безумие — он был готов навсегда отвергнуть разум.

А потом они плавали в лунной воде, и даже вода не могла остудить огня поцелуев, и уйти было хуже, чем умереть... Но он не собирался умирать — он должен был победить и вернуться.

Вернулся... Кашель разрывал грудь. Но Андрусь уже решил, под чьей крышей проведет следующую ночь, — он пойдет к Валентину. Не может быть, чтобы человек за два года совершенно изменился, — не выдал тогда, не должен и сейчас. Тем более Андрусь больной, измученный, а Валентин — благородный человек. И ничем не рискует — ведь вне всяческих подозрений.

Записка, переданная через мальчика из дворни, не долго оставалась без ответа. Приблизительно через час Андрусь уже лежал в теплой сухой постели и проваливался в глубокий, как могила, сон. Ему не пришлось выслушивать вопросы, что-то объяснять, не встретил он ни настороженности, ни вражды. Конечно, на особое радушие рассчитывать тоже не приходилось. Валентин словно не удивился, воспринял появление обросшего, измученного беглеца достойно, по-мужски. И Андрусь был рад, что пришел сюда. Последняя его мысль, перед тем как заснуть, была об Анеле. Она где-то рядом — он чувствует. Утром он обязательно узнает о ней, возможно — перешлет весть... А может — увидит! Это было бы просто невероятным счастьем!

Когда он открыл глаза и увидел над собой милое лицо в золотой короне кос, то подумал — бред... Только прикосновение прохладной узкой ладони к его лбу подтвердило: не сон... Андрей схватил чудесное видение за плечи: Анеля... Он был так счастлив, что даже не осознал, как она изменилась, как похудела, словно угасла.

— Сейчас здесь будут жандармы.

Он не мог уяснить смысла слов.

Она терпеливо, глуховатым от безнадежности голосом повторила:

— Тебя сейчас арестуют. Зачем ты сюда пришел?

Андрей хотел прижать ее к себе, но она отстранилась. Милая трусишка!

— Анеля! Не бойся, Валентин не такой... Он не выдаст. Какой же он молодец, что послал за тобой!

Анеля как-то странно рассмеялась.

— За мной не посылали. Я здесь живу.

— Живешь? Почему?

Предчувствие чего-то непоправимого шевельнулось болью, но Андрусь отогнал предательское ощущение — еще немного продлить счастье...

— Помнишь, тогда, когда ты пришел на мой день рождения... Валентин знал, что ты должен посетить меня. Жандармы приходили по твою душу.

— Но Валентин...

Анеля остановила его:

— Он задержал меня в прихожей и сказал, что имеет приказ тебя арестовать. И есть только один способ спасти тебя — я должна дать слово, что стану его женой.

Андрусю стало холодно, а думал, что холоднее, чем в той лощине, ему уже никогда не будет.

— И ты...

— Я — жена Валентина. Он сдержал свое слово. Я — свое...

Как больно... Андрусь зашелся в приступе кашля, и Анеля метнулась подать ему теплое питье на травах, что стояло на тумбочке у изголовья кровати. Эгоистичный вопрос брошенного мужчины, от которого самому стало стыдно.

— Ты ... счастлива?

— Посмотри на меня. — Андрусь взглянул в ее серые глаза, обведенные черными тенями, и содрогнулся от острого сожаления.

Он схватил женщину в объятия, целовал ее волосы, брови, милое, любимое лицо — и она словно просыпалась от страшного сна.

— Ты должна уйти от него! Забудь о моей судьбе! Мои воля и жизнь не стоят твоей муки, милая, ведь она — и моя сто крат! И не забывай, я — воин!

Анеля закрыла лицо руками, и Андрусь начал целовать ее пальцы, осушать губами слезы...

— Уйти... Не было дня, чтобы я не мечтала об этом... Родители с радостью приняли бы меня обратно. Не думай, что он меня мучает. Он по-своему хороший человек и любит меня... По-своему... «Стерпится-слюбится...". Какая чушь! Такой красавец, богатырь, уездные барышни млеют, а погладит по коже — озноб отвращения. Словно прикасается жаба. Но я дала слово.

Андрусь отчаянно покачал головой.

— Ты дала слово, что будешь его женой взамен за мою свободу. Но здесь жандармы, меня арестуют, и ты свободна! Разве не так?

— Не так, дорогой друг!

Дверь распахнулась, и в комнату вошел Валентин. Как всегда, уверенный, мужественный. Андрусь вскочил и стал напротив — согнувшийся, обросший, пытаясь подавить кашель... Дуэль взглядов закончился ничем — Валентин явно не чувствовал за собой никакой греха. Так же он когда-то отбирал понравившиеся игрушки у приятелей, отбирал — силой, молча, упорно и никогда не просил дать поиграть.

— Андрей, тебе лучше прилечь. Сегодня вечером придет врач, человек надежный. А ты, Ангелина, иди в свою комнату.

— Я останусь с ним, — голос женщины звучал вызовом.

Валентин сжал зубы, помолчал, видимо, чтобы унять гнев.

— Вы напрасно волнуетесь. Никто не арестует тебя, Андрей. Ты в безопасности. Вылечишься и уедешь — я помогу тебе выбраться за границу.

Андрусь смотрел в лицо Анели, в котором соединялись радость и страдание, и чувствовал себя негодяем.

Женщина недоверчиво переспросила мужа:

— Но почему здесь жандармы?

— Им донесли, что подозреваемый человек двинулся в сторону поместья. Ты не был слишком осторожен, Андрей, — голос Валентина звучал холодным укором. — Но сейчас я выйду к ним и направлю в другую сторону. Там поручик, мой хороший знакомый... Никакой риска, никто не поверит, что я — предатель, — в голосе хозяина чувствовалась настоящая горечь. Валентин мягко взял жену за плечи. — Пойдем... Больному нужен покой.

Анеля покорно опустила голову:

— Хорошо... Как скажешь...

Голос ее прошелестел, как сухие листья. Она медленно двинулась к двери. Андрусь сжал кулаки. Заложница... Он боролся, чтобы добыть своему народу свободу — и сделал любимую женщину

рабыней врага. И она будет терпеть и смиряться, она — такая гордая, жизнерадостная когда-то! Кто же он сам после этого?

За окном слышались грубые голоса, смех, топот лошадей. Андрусь подобрался к окну. Действительно, конный отряд... Два офицера... Как раз как два года назад. Вот уверенный голос Валентина. Андрусь пошарил под подушкой. Пистолет у него не отобрали — он же не был пленником. И само собой разумеется, что он не мог стрелять в хозяина дома, который дал ему пристанище.

Андрусь распахнул окно и упал на прелую листву. Отполз, прячась за кустами. Пусть думают, что он бродил где-то возле дома. Рука предательски дрожала, и он выстрелил не целясь. Один из жандармов схватился за плечо...

Бунтовщик был истощен и имел всего один заряд. Далеко не убежал. Инсургента связали и положили на телегу, одолженную у хозяина. Хозяин был несколько растерян — видимо, не ожидал, что такой гость скитается прямо под окнами. Пани, добрая душа, вынесла для арестованного теплую одежду. Пусть... Должен же злодей дожить до виселицы.

— Зачем ты это сделал?

Она не плакала — глаза были совсем сухие, с горячим блеском.

— Теперь ты свободна... Уходи от него. Обещаешь?

— Любимый... — она поцеловала его избитое лицо. — Ты должен знать... У тебя есть сын.

— Что?!!

— Да. Твой сын. Похожий на тебя, светленький и веселый. Зовут — Константин.

— Любимая... — Андрусь, связанный, больной, избитый, захлебывался от счастья. Сколько в нем, оказывается, еще силы, спасибо, Господи!

— Я уйду. Но Валентин не отдаст мне сына.

— Я вернусь, — Андрусь сказал это неожиданно жестко. — Я вернусь за ним и за тобой.

Дождь хлынул на черную землю, словно оплакивая ее зимнее умирание. И вдруг в низких, похоронно мрачных тучах блеснула поздняя молния — словно притупленная в славных битвах сабля, и отразилась в серых глазах женщины, неподвижно стоявшей у ворот и смотревшей на пустынную дорогу.

В пансионе для мальчиков, где среди прочих учился двенадцатилетний сын статского советника Валентина Р. Константин, царила строгая дисциплина. Часть учащихся содержалась за казенный счет, и почти для всех вырисовывалась одна перспектива —

пополнить ряды царской армии. Поэтому особое внимание уделялось воспитанию верноподданнического духа и телесной мощи. Северо-Западный край, который только что пережил бунт, нуждался в здоровых молодых силах, способствующих гражданскому согласию.

По правде говоря, статский советник мог бы для своего единственного сына выбрать лучший пансион. Тем более Константин Р., белокурый умный мальчик, особые успехи делал в изучении языков, а за нарушение дисциплины достаточно часто попадал в карцер. Отец редко звал сына на каникулы домой. Еще бы — овдовев, женился второй раз. Мальчик изредка посещал только родителей матери — за стены пансиона выходить не разрешалось. Много времени Константин проводил в библиотеке. Новый учитель немецкого языка, почтенный человек с совершенно седыми волосами и жилистой фигурой бывалого путешественника, особенно отмечал способности Константина, даже дополнительно с ним занимался. Поэтому никого не удивило, что он вызвался проводить ученика к его родственникам.

Константин Р. и учитель-немец больше в пансионе не появились. Следствие установило, что мужчина и мальчик, по паспортам — отец и сын, пересекли границу Российской империи на границе с Пруссией. Пошли слухи, что немец был вовсе не немец, а итальянец, один из головорезов Гарибальди, и в свое время носил знаменитую красную рубашку. Говорили еще, что он то ли карбонарий, то ли масон и мальчика увлек для каких-то магнетических опытов, и непонятно, откуда у него блестящие рекомендации и неоспоримо высокая образованность.

Статский советник Валентин Р. не проявил заинтересованности в розыске сына. Подробности дела были строго засекречены.

ЛИКАНТРОП

Стволы высоких корабельных сосен — сверху янтарные от солнца, а начиная с середины темные, будто постаревшие — и у самой земли контрастно к юной нежной коже вершины покрыты седым мрачным мхом. Даже при небольшом ветре деревья качаются, сталкиваясь широко раскинутыми ветвями. Тому, кто смотрит на них из окна усадьбы Варгуны, кажется, что сосны идут прямо на него, неуклюжие и одновременно устрашающие, идут на несгибающихся ногах, наклоняясь из стороны в сторону, и вот-вот пробьют тонкое стекло, вставленное в свинцовые рамы, жесткими, как копья, ветками...

Но человек в усадьбе раскрывает окно тонкой рукой в перстнях и кричит, перегибаясь вниз с высоты третьего этажа:

— Гринь! Сегодня охоты не будет! Запри собак! И не выпускай, пока не скажу...

Внизу отзываются грубым недовольным голосом:

— Как хочешь, пан...

Собачий возмущенный визг стихает.

Человек резко отходит от окна, запахивает на груди бархатный халат, словно от холода, и все ходит по комнате, и стонет, и горько посмеивается, и не закрывает окно... Опять, ну почему опять... Боже мой, Боже мой...

Богато, непривычно богато живут в этой деревне мужики. Дома крыты не соломой, а гонтой — добротной монастырской черепицей, крыши - «в закот», и в каждом дворе — гнездо аиста... Пан поручик оглядывается и созерцает свой унылый отряд — десять усталых жандармов на забрызганных грязью лошадях... По крайней мере, дороги здесь такие же, как и в России. Но — не Россия... Литвины, белорусы, темный, суеверный народ. Они прячут в кладовках деревянных католических святых и в «красные» дни мажут их губы медом. За православными иконами у них скрыт пук зверобою, собранного на языческое Купалье, и обязательно висит венок чеснока — от нечистой силы. А под венцом каждого дома, с восточной стороны, был некогда зарыт живьем петух — несчастный солнечный вестник...

Пан поручик пренебрежительно кривит губы. Чужое... Но ведь все вокруг может в будущем принадлежать ему, верноподданному русскому дворянину...

Последнее осеннее солнце щедро золотило Северо-Западный край империи. Над дорогой сомкнулись кроны сосен, кружевные мерцающие тени легли под ноги коней. И этот шум — будто волны... Немного воображения — и полное ощущение, что едешь по дну реки с прозрачной, пронизанной солнцем водой...

Вот, наверное, и граница имения. Двое мужиков в маленьких войлочных шапках — кажется, они называются магерки — поворачивают бревно, что перегородило дорогу на двух подпорках-рогулях... Наверное, и сами эти Варгуны — обычный неухоженный старинный дом, немного лучше дома зажиточного крестьянина... А владелец — непременно типичный застенковый шляхтич, чья гордость больше дыр, что проела моль в его прадедовских коврах с вековой пылью...

Сосны подступают, кажется, к самым стенам дома... Но можно рассмотреть, что постройка большая, на три этажа, с торжественной колоннадой при входе. Хотя, конечно, немного запущенная... Конь поручика упирается, поднимая целый фонтан грязи копытами, и дрожит... Что за морок напал на лошадей? А тут еще жуткий собачий вой откуда-то из хозяйственных пристроек усадьбы...

В окнах большой комнаты для гостей гаснет красное солнце (разве такое позднее время?). У стен неуклюжая, отделанная резьбой мебель черного цвета, в которой что-то есть от гроба. И этот распространенный обычай местных жителей ставить печь в ближайшем ко входу углу... Поручик косится на обложенную блестящим зеленоватым кафелем печку, и ему кажется, что пузатые голенькие херувимчики с бокалами пива с каждого кафеля поглядывают на него, повернув лукавые пухленькие рожицы, и подмигивают самым непристойным образом. Поручик слышит, как жандармы за его спиной громко восхищаются звериными головами, украшающими комнату. Зубры, туры, олени, лоси, медведи, кабаны скалятся со стен, поблескивают почти живыми, налитыми кровью глазами, кажется, даже покачивают огромными рогами...

Возвращается слуга — в сюртуке, с бакенбардами и оскорбительной важностью:

— Пан Леонард просит прощения у достопочтенных господ, что по причине плохого здоровья не может спуститься, чтобы встретить их лично. Пан ждет достопочтенных господ в библиотеке...

Поручик хмыкает: хозяин, очевидно, испугался. Ничего. Поднимемся сами, не трудно...

Поручик и трое жандармов идут за слугой наверх по деревянной отполированной лестнице. Со двора долетает опротивевший собачий вой и испуганное ржание лошадей.

В вольтерианском уютном кресле сидит изысканный, с тронутыми сединой висками пан. На нем алый бархатный халат, окаймленный темно-фиолетовой тафтяной полоской, на ногах — турецкие расшитые туфли с задранными носами. Деликатная, в перстнях рука откладывает пухлый томик... А говорили, что знаменитый охотник...

— Простите, уважаемые, что не встаю — ревматизм.

От этого вежливо-равнодушного голоса и твердого взгляда серых насмешливых глаз краска бросается в лицо поручику. Проклятые напыщенные шляхтичи... Но подожди, дорогой, послушай императорский указ: «За содействие мятежникам... Недонесение на

заговорщиков... Подлежит аресту... Обыск... Конфискация имущества...».

Пан Леонард задумчиво перебирает роскошную алую кисть на конце своего пояса... Что ж, гости приехали точно во время...

— Мой дом и я в вашем распоряжении... Позвольте только больному человеку остаться в кресле...

Тонкая рука снова берет книжку. Поручик крикливо отдает приказы — даже голос срывается на мальчишеский дискант от неосознанной злости на утонченного аристократа, который всю жизнь пил вон из тех переливающихся фарфоровых чашек — поручик видел такие только в тех семействах, где на него никогда не смотрели как на возможного жениха... Хрупкая на вид рука в перстнях сжимала это ружье с прекрасной серебряной гравировкой, и королевская добыча — зубр – лежала под ногами, что сейчас греются в расшитых настоящими жемчугами туфлях... Такой и на виселицу пойдет с легкой презрительной усмешкой... На минуту офицер чувствует себя беспомощным, затерянным вместе с группой солдат в чужих лесах и болотах, откуда целый день быстрой езды до ближайшего городка.

«Все будет мое!» — является из подсознания радостная мысль, и поручик опять приобретает прежнюю уверенность и, оставив жандармов стеречь арестованного, идет командовать действиями остальной части отряда.

В библиотеку вместе с собачьим воем начинает доносится звук разбитой посуды и женский визг.

Темнеет. В усадьбе зажигают свечи. Поручик, торопясь, составляет протокол обыска. Завтра опять грязные сентябрьские дороги, тоскливые крики болотных птиц и на каждой развилке — страшный деревянный Иисус, распятый на покосившемся неоструганном кресте... А сегодня есть наконец возможность переночевать в людских условиях, на пуховой перине, в огромной господской кровати под сказочным балдахином... Пан Леонард сказал, что просидит до утра в библиотеке — с любимыми книжками... Интеллигентный человек. Достаточно одного часового перед дверью и двух — под окнами...

По крайней мере, кухня здесь выше похвалы... Повара ни в коем случае не нужно увольнять.

Пан Леонард сидит в своем уютном кресле. За окнами качаются темные силуэты сосен. Когда ветер усиливается, они сталкиваются не только ветвями, но и стволами, и тогда слышно сухое постукивание дерева о дерево. Вдруг к привычному запаху старых

книжек присоединяются тысячи различных запахов и их оттенков, словно к звуку неслышного инструмента — целый оркестр. Пан Варгун улавливает даже горький запах пожарища на месте соседнего имения.

Почти сразу же обостряется звуковое восприятие — миллионы звуков — шорохи, царапанье, стоны, перешептывания, шаги — врываются в отвыкший мозг, так что требуется некоторое время, чтобы вновь овладеть сознанием...

Пора... Пан Леонард беззвучно встает и дует на свечи, что горят на круглом мраморном столике. Воцаряется тьма, но глаза приобретают неожиданную остроту зрения — все окружающее видно совершенно отчетливо, словно в какой-то серой подсветке. Теперь начинает страшно зудеть кожа... Пан, торопясь, развязывает пояс и скидывает халат. Красный цвет бархата вызывает непреодолимое раздражение, и Варгун заталкивает сброшеную одежду в нижний ящик шкафа.

Тело пронзают невидимые потоки энергии, которая, кажется, исходит от полной луны, что заглядывает в окно. Все существо человека вибрирует, наполняется мощью и веселым безумием. Неодолимо хочется встать на четвереньки... Мощный звериный рык рвется сквозь стиснутые зубы — или клыки? Створки окна тихо раскрываются, впуская ночь. Внизу, в зарослях жасмина, видны две ненавистные белые фуражки...

Из окна второго этажа усадьбы Варгуны на землю, покрытую ковром первого листопада, беззвучно спрыгивает огромный волк с серыми глазами, в центре которых горят два желтых огонька — как лепестки свечей...

Жутко воют собаки, на конюшне рвутся с привязей вспененные кони, дворовые люди, не говоря ни слова, встают с кроватей, зевая, вешают на двери и окна своих комнат связки чеснока и чертополоха — сейчас ни ведьма, ни оборотень не войдет; крестятся и снова ложатся спать, суеверные, темные, спокойные...

На утро прислуга долго убирает дом, совсем не удивляясь ночному исчезновению пришельцев.

В библиотеке, в уютном вольтерианском кресле, сидит пан Леонард Варгун. Красный бархатный халат перевязан поясом с большими мохнатыми кистями, изящная рука в перстнях переворачивает страницы томика латинских стихов, а за окном шатаются, качаются сосны, которые идут к усадьбе и никак не приблизятся к ней вплотную...

— Гринь, готовь собак! Сегодня идем на охоту!

ТЕНИ ЗАБЫТОГО КАРНАВАЛА

Позолоченная фольга склеивалось плохо, и от этого латы казались безжалостно изрубленными вражеским мечом. Однако Антик не хотел и слышать о другом карнавальном костюме. Он будет только серебряным рыцарем! Таким же, как на их гербе. Старшая сестра, сероглазая Наста, уже совсем рассердилась, перепачканная клеем, облепленная серебряными ошметками, — вот выдумки баловня!

Но в семье Карваров Рождество праздновались с особым размахом. Даже отец, такой обычно озабоченный и серьезный, не считал зазорным украшать елку, помогать придумывать карнавальные шутки и игры.

На это Рождество также ожидалось много сюрпризов. Взрослые бродили по дому с таинственным видом. Мохнатая кошка Заира, материнская любимица, убегала с визгом из углового комнатки, где проходили репетиции. И, конечно, по шкафам и ящикам прятались коробочки и пакетики с подарками. В их семье был обычай, кроме покупного, дарить друг другу что-то, сделанное своими руками. Ну хотя бы бархатный кошелек, вышитый незабудками, или вырезанного из липовой древесины всадника, неуклюжего, но очень боевого.

Антик, представитель новейшего, прагматичного, поколения, решил вопрос очень просто: составил список того, что бы он хотел получить от каждого из домашних. Не удивительно — все, о чем он мечтал, касалось исследований в естественных науках, а приобретать в качестве рождественского подарка бутылку формалина, ей-богу, никому бы и в голову не пришло. Хотя Антикова коллекция заспиртованных головастиков, лягушек, ящериц и других малопривлекательных существ пользовалась большим успехом у Настасьиных подруг — Антик специально заманивал неопытных девочек в свою комнату, чтобы услышать приятное мальчишескому уху визжание. Аккуратные ряды расставленных по полкам банок, в которых плавало всякое непотребство, производили впечатление не только на гимназисток. Единственный, в ком коллекция вызывает умиление, — сосед Стас. Он уже учится на первом курсе медицинского университета, отрастил длинные волосы и даже пытается отпустить бороду, хотя пока она не очень солидная и, сказать по правде, на звание бороды даже не тянет.

Стасик очень умный и смелый. И познакомились они с ним, когда три года назад черноглазый застенчивый подросток нырнул в страшный Баламутов омут, чтобы достать Настасьину соломенную шляпку. Гувернантка-француженка тогда от ужаса потеряла

сознание, и пришлось брызгать ей в лицо водой и потом долго упрашивать, чтобы не рассказывала никому о неразумном поступоке «сэра Ланцелота» — так мадемуазель Алин прозвала Стася. Антику было всего восемь лет, но новый знакомый разговаривал с ним, как со взрослым, и об очень серьезных вещах — например, как устроена дыхательная система лягушки, или о животном магнетизме, или о теории эволюции Дарвина.

Антик искренне удивлялся, почему они раньше никогда не виделись со Стасиком? Имения же рядом — Залесье, откуда родом Стас, и их Речицы, и в доме Карваров всегда любили гостей. По крайней мере, после того случая с омутом Стасик стал заходить во время каждых каникул. О Стасевых родителях Антик не знал ничего, кроме того, что залесский пан — полковник в отставке и имеет связи в Санкт-Петербурге, откуда и приехал. Никаких попыток сблизиться с кем-то из соседей залесские господа не делали. Да какое это имело значение, если со Стасевой легкой руки коллекции птичьих перьев и яиц и многое другое пополнялись, а животный мир поместья Речицы обогатился двумя парами удивительных голубей — белых, как молоко, и пушистых, словно растрепались, продираясь сквозь облака.

Но постепенно Антик начал с досадой подозревать, что заходит старший друг не столько для того, чтобы принести ему новую книжку про животных, а чтобы увидеться с капризницей Настой и завести с ней неинтересные разговоры о каком-до Достоевском, Словацком, Золя и вообще о непонятных Антику вещах, типа женской эмансипации. Причем они всегда спорили — Стасик снисходительно, сохраняя мужское достоинство, Наста — жарко, аж до слез. И ее серые глаза так горели, а голос гневно дрожал, что Антик, наверное, убежал бы от такой бешеной. Даже мадемуазель Алин, которая не раз была свидетелем подобных стычек, не выдерживала и бежала за нюхательной солью — для себя, конечно. А Стас восхищенно улыбался. И Антик каждый раз думал с тайным удовольствием, что сейчас его сестра не захочет больше встречаться с черноглазым задирой. Но, когда гость уходил, мальчик с удивлением замечал на лице Насты странную мягкую улыбку, а взгляд сестры пролетал, не задерживаясь, сквозь неинтересные предметы интерьера в какие-то нездешние дали.

Появилась та улыбка на ее губах и сейчас, когда горничная прибежала с сообщением, что пришел залесский барчук. Антик бросился на лестницу, перевесился вниз. Стас явился в невероятно шикарном виде: поверх длинного черного пальто — клетчатый плед, на длинных волосах — шляпа с широкими полями, с которых сейчас

стряхивались целые снежные сугробы. А в руках — два увесистых пакета!

— А, наш юный сосед! Это ваш карнавальный костюм?

Отец, пан Михал Карвар, всегда почему-то разговаривал со Стасиком шутливо. Но молодой человек ответил достойно, с припрятанным вызовом:

— Так одеваются студенты, пан Михал.

— Ну-ну... А как же шинель, мундир, фуражка с гербом, перчатки?

— Мы протестуем против ношения формы, — голос Стася звучал торжественно. — Бедные студенты не могут ее приобрести, поэтому им грозит исключение. Это дискриминация! Мы решили все ходить на занятия в штатском!

— Что ж, одобряю, — отец сказал это уже серьезно. — Но сегодняшним вечером, юноша, желаю вам только искренне веселиться.

Гостей, как всегда, было много. Приехала пани Марыся, вдова дяди Анатоля, брата пана Михаила. Много лет пани Марысю видели только в черном, хотя сегодня на ней серебристо-серый роброн. С пани Марысей дочери, смешливые рыженькие Ганка и Гапка. Вот пан Михал встречает семью из усадьбы Горкавичи: пан Витольд, худощавый, с коротко стриженными седыми волосами и тростью, похож на римского легионера, полная добрейшая пани Ядвига, их сын Радусь, будущий юрист, элегантный и уравновешенный до скуки. Веселая праздничная суета наполнила дом доверху, как разноцветные камешки наполняют шкатулку красавицы.

— Карнавал! Карнавал! Маски, готовьтесь!

Антик бросился в свою комнату. Латы выглядят как настоящие... А меч — так и вообще настоящий: древний, воинский, выщербленный во многих битвах — поэтому и позволили взять, что потерял былую остроту. Конечно, не совсем рыцарский — такой короткий меч назывался «корд» и использовался для ближнего боя. Мальчик не удержался, чтобы не взмахнуть своим оружием, направо, налево, резкий выпад — и дракон подыхает на коричневой от ядовитой крови траве.

В зале уже собирались маски. Старшие гости, что не принимали участие в переодевании, устроились на стульях у стен. Пани Ядвига, конечно, двинулась к столику с угощением — цукаты в имении Речицы были отменные.

Мать в светло-зеленом платье, приветливая и красивая, с такими же огромными серыми глазами, как у Насты, подходила то к одному, то к другому гостю, и от ее слов, взгляда, улыбки

просветлялись лица — словно солнечный луч скользил по волнам ручья.

Наста завидовала материнскому умению заставить самого серьезного человека улыбнуться, приоткрыть свою душу. Казалось, пани Карвар провела жизнь в сказочном мире, где просто нет злых людей и больших несчастий, — такая она была вся светлая, доверчивая, никогда не повышала голоса. Как настоящая фея.

А вот мадемуазель Алин, их строгая, впечатлительная мадемуазель Алин неожиданно надела яркий наряд озорной Коломбины. Радусь кутался в белый плащ с нашитым крестом. Ганка и Гапка – в невероятной ширины кринолинах и коронах, но каких королев сестры должны были изображать — знали точно только они сами. Среди пестрой толпы выделялся Стасик в простом черном пиджаке, с воротником под горло. Но он принимал такие гордые позы, пытаясь достойно ответить на шутки рыженьких сестер, что его костюм вполне мог сойти за карнавальный — романтический герой, благородный воитель. А вот пан Михал вышел в легкомысленном костюме тамбурмажора, в огромном кивере и с огромным же блестящим жезлом, которым изо всех сил ударил в пол.

— Карнавал начинается!

Усы у пана Михала были пышные свои, и улыбался он в них так весело, что все засмеялись в ответ, захлопали в ладоши. Но Гапка закричала:

— Подождите, еще Насты нет!

Несколько веселых голосов позвали девушку. Вдруг из галереи второго этажа послышалась протяжная восточная мелодия дивной красоты. Кто-то сыпанул блестки, и над лестницей закружился фантастический легкий снегопад. На верхней ступеньке замерла призрачная фигура. На девушке, грациозной, словно родниковая струйка, была изумрудная, расшитая камнями и золотом длинная шелковая рубашка, опоясанная широким золотистым поясом, из-под рубашки показывались шаровары из белого атласа, с блекло-зелеными растительными узорами. Ножки — в золотых туфлях с загнутыми носами, на тюрбане из белого шелка подрагивают чудные перья, а лицо прикрывает прозрачная вуаль, словно сон русалки. Даже Антик не сразу узнал сестру — вот чего она так надолго закрывалась в своей комнате и вот куда исчезли материнские тюлевые пелерины! Только огромные серые глаза скрыть невозможно — сразу узнаешь.

Девушка медленно спускалась по лестнице, ступая в такт переливчатой мелодии. Сквозь вуаль проглядывала улыбка. Наконец общее ошеломление прошло, все снова захлопали, приветливо

закричали. К восточной принцессе с двух сторон бросились, предлагая руку, элегантный Радусь в белом костюме паладина и Стас в черном. Принцесса немного промедлила, а потом звонко рассмеялась и протянула обе руки пылким рыцарям.

— Танцы! — закричал пан Михал на правах хозяина.

И танцы начались... И закрутили головы, и заставили сердца биться бешено, словно от изнурительного бегства от прозы завтрашнего дня. Конечно, появились ряженые — с козой, медведем, цыганами и долговязым аистом, который страшно щелкал деревянным острым клювом. А какие были подарки! Антик особенно восхитился полученным от отца микроскопом с двадцатикратным увеличением и Стасевым шикарным набором для создания энтомологической коллекции (бедные будут букашки в окрестностях карваровского дома!).

А в довершение — прогулка на санях.

Конечно, бедного Антика отправили спать.

Какой несправедливый мир!

Девушка в изумрудно-бело-золотистом переливающемся наряде тихо шла по полутемным коридорам поместья, смех и гул праздника затихали где-то далеко. Наконец, там, где конец коридора расширялся в комнату эркера — круглый зал с большими окнами, что выступал перед фасадом дома, будто великанский фонарь, на фоне заснеженного окна увиделась чья фигура.

— Стас! Почему ты убежал?

Юноша мрачно созерцал освещенные дрожащим огоньком лампады ясли — восковой Христос тянется ручонками к склоненной над ним матери с восковым же прекрасно-печальным лицом, овечки — как живые, пушистые, забавные, бычок, кажется, так бы и замычал от радостно-простоватого удивления...

— Ста-ас!

В голосе девушки звучал упрек, будто в адрес непослушного ребенка. Одинокий герой наконец поднял голову как можно более гордо.

— Не волнуйтесь за меня, панна Анастасия. Я привык к одиночеству. Подумать захотелось наедине, поразмышлять.

— Да ты просто обиделся, что я с Радусем танцевала.

Хорошо, что в темноте не видно, когда краснеешь. Стас изо всех сил старался сделать голос спокойным. Выглядеть смешным перед этой девчонкой! Невыносимо.

— Я, извините, не заметил, с кем вы танцевали, и считаю ваш выбор вашим же личным делом. Мое настроение не зависит от... от девичьих капризов.

Все-таки выдал себя, сказав о капризах. Сейчас — только уйти... Борец за социальную справедливость, называется... Бедный Вертер...

Пока юноша, уставившись в угол, искренне осыпал себя в мыслях обидными прозвищами, Наста тихо положила руку ему на плечо.

— Дурачок... Радусь просто мой друг детства, самоуверенный денди. Мне такой понравиться не может. Ну, перестань дуться...

Стас не выдержал, обернулся к девушке, схватил ее прохладные ладошки, как два лепестка, в свои руки, припал к ним горячими губами.

— Прости... Я вел себя, как ребенок...

— А ты и есть ребенок, — засмеялась Наста, — хоть и считаешь себя тургеневским Базаровым.

— Но Тургенев во многом был прав, — Стас опять посерьезнел. — Даже твои родители — какие бы ни были умные, порядочные люди, остаются господами, людьми своего класса. Им никуда не деться от вины перед простым народом. Посмотри, сколько сегодня потеряно денег на развлечения — можно было бы накормить целую деревню! Напрасная, порочная трата времени!

Наста покачала головой:

— Мне трудно спорить с тобой — конечно, ты больше меня знаешь, ты старший... Но разве не стоит тратиться просто для того, чтобы человек порадовался? Разве ты не видел, что сегодня в Речицы приходили крестьяне и их дети и тоже получили праздник — и подарки, конечно. Люди тянутся к красоте. Этот парень, что играл сегодня на флейте... В детстве у него отбирали дудочку и били ею по губам — чтобы не занимался глупостями. А он вырезал новую — и играл... Сейчас он учится в консерватории — наш отец помог. А вот эти ясли... Их мастерили не господа — прислуга. Посмотри, с какой любовью тут сделана каждая деталь. Людей никто не заставлял, никто не приказывал это делать. Уничтожь эту красоту, если можешь!

— Мещанство...

Стас наклонился, взял в руки маленького Христа... Пальцы сложились, чтобы щелкнуть в восковой лобик... Разжались... Стас осторожно положил куклу на место, словно живого младенца. Вздохнул... И заговорил другим тоном, мягко и доверительно:

— Наверное, ты права... Даже в том мире, который когда-нибудь построят наши потомки, не исчезнут красота и любовь. Но... я не хочу, чтобы ты превратилась в избалованную барышню, погубила свою живую душу в уездной «светской жизни». Конечно, твои родители не поймут... Как не понимают мои, хотя они тоже хорошие, честные люди, а отец успел и славно повоевать. Так вот... При нашем университете открылись курсы для женщин... Тебе исполняется восемнадцать...

— И мне придется коротко постричься? — рассмеялась Наста.

— Почему? — растерялся Стас.

— Ну как же, все курсистки — коротко стриженные. А у меня — вон какие косы... — Наста игриво приподняла руками пышные русые прядки, перевитые тонкими золотыми нитями с жемчужинами.

И Стас не выдержал, чтобы не дотронуться — осторожно-осторожно, будто боялся повредить — до этого ароматного водопада.

— Ну, я думаю, можно обойтись и без стрижки... Но... Ты согласна?!!

— Разве ты сомневался?

— Дорогая... – два силуэта приблизились друг к другу, замерли...

Потом парень прошептал:

— Я мог бы за тебя умереть... С радостью.

Она накрыла его губы ладонью.

— Зачем говорить о смерти!

Юноша счастливо рассмеялся:

— Действительно... Перед нами — жизнь, дорога из болота — на широкий простор. Мы можем фиктивно пожениться — и ты получишь свободу и сможешь сама распоряжаться своей судьбой. Так многие курсистки сделали.

— Фиктивно? — Наста сказала это так холодно, с такой отрешенностью и обидой, что Стас упал на колени, чувствуя себя негодяем.

— Любимая! Я только хотел сказать, что ты — свободна и от меня. Я никогда, слышишь — никогда — не буду навязывать тебе свои решения. Ты — личность, ты — человек, равный мне...

Наста коротко вздохнула:

— А кто тебе сказал, что я хочу быть свободной от тебя?

— Милая...

Силуэты вновь слились в призрачном лунном свете, который отражался на снегу за широкими окнами. Где-то послышались веселые крики тех, кто отправлялся на санную прогулку. Звенели,

удаляясь, бубенцы... Вдруг по коридору поплыл огонек свечи, послышались голоса.

Юноша и девушка инстинктивно прижались друг к другу, присели, затаились в темном углу — как в игре в жмурки. Голоса приближались.

— Зачем ты принимаешь в доме этого залесского барчука? — мать говорила не зло, скорее горько-устало.

— Дорогая, он хороший мальчик... И ни в чем не виноват, — это отвечал отец.

— А в чем были виноваты твои братья? Ты сам? В том, что хотели свободы для своего народа? Забывать страдания тех, кто пожертвовал собой ради справедливости, — позорно.— Мать была неслыханно резкой. — Вот сегодня... Во время карнавала... Я просто не могла смотреть, как две несчастные сироты — Ганулька и Агапка — шутят с сыном палача и убийцы их отца. Твоего брата, между прочим.

Отец помолчал, слышны были только его тяжелые шаги — пан Михал имел привычку во время тяжелых раздумий расхаживать...

— Вряд ли молодой человек знает о делах двадцатилетней давности. Он, как мне кажется, человек честный и тоже хочет справедливости для народа...

Мать горько рассмеялась:

— Прощать и забывать — это мы, белорусы, умеем. Ты уже забыл, что Залесье принадлежало твоим предкам на протяжении пяти веков? Ты забыл, что тридцать семей из Залесья господином полковником, нынешним хозяином, были высланы в Сибирь, за помощь бунтовщикам — бывшим их панам? А мужчины перед этим попробовали кнута. И никто из ссыльных не вернулся. А теперь на деньги, собранные с залесских крестьян, учится этот благородный барчук. Который также собирается крестьян освобождать... Пусть бы освободил хоть одного из тех, сосланных его отцом!

— Магда, ты несправедлива... Дети должны быть свободны от ужасов прошлого.

— И ты допустишь, чтобы твоя дочь, а у меня есть такие подозрения, полюбила сына подлеца и палача, человека, который когда-то гноил тебя в каменном мешке и приказывал кормить селедкой и не давать воды, чтобы заставить продать братьев? А тебе было всего восемнадцать, и они не имели никаких доказательств, что ты был инсургентом... И когда я добилась встречи, ты был весь опухший и искусанный крысами и вшами, и не мог держаться на ногах... А когда тебя потащили назад, я видела, как этот... человек...

ударил тебя по лицу, предварительно надев кожаную перчатку. Как будто выполнял неприятную, но полезную и нужную работу. Я не могу этого забыть, Михал...

Женщина заплакала. Отец заговорил что-то утешительное, стукнули двери, и голоса смолкли.

Две фигуры остались в полумраке зала с большими окнами. Теперь они уже не прижимались друг к другу. Стояли рядом, но так неподвижно, словно между ними возник невидимый архангел с огненным мечом.

Вдруг одна фигура сорвалась с места и побежала.

— Стас! – у Насты не было сил даже закричать, из ее губ вылетел какой-то хриплый шепот.

С улицы снова доносились веселые голоса, перекликались бубенцы, хлопали двери — праздничная ночь заканчивалась.

Залесского панича нашли под вечер следующего дня, на дороге в Залесье. Почему он пошел пешком, в самую стужу, да еще не по большаку, а через лес, где самые сугробы?

После этого происшествия залесское поместье было продано какому-то немцу, который соблазнился участком леса со стройными корабельными соснами, что продавался вместе с имением. Скоро там застучали топоры, завизжали пилы, и Залесье превратилась в вырубку, заросшую печальным осинником, посреди которой темнел, как памятник былой жизни, заброшенный дом с заколоченными ставнями — новый хозяин там не жил.

Анастасия Карвар после окончания гимназии поступила на женские курсы при Санкт-Петербургской медицинской академии. Особенно был в восторге от этого ее младший брат Антон — теперь сестра привозила ему в подарок новые книги по биологии и заспиртованных ящериц.

На Рождество в поместье Речицы больше не проводились пышные карнавалы.

СТАКАН ТЬМЫ С ПРИВКУСОМ КРОВИ

Кто сказал, что ночь — слепая? У нее — тысячи глаз. И все безжалостные, словно прицел нагана.

Может, так просто казалось от того, что в городе царила черная осень, которая бесстыдно сбросила с себя последний сентиментально золотой листок, что под окнами скитался поздний вечер, в то время как порядочные обыватели даже чай уже выпили, а холодный дождь стегал, стегал, стегал невидимыми в темноте плетьми

полумертвую землю в непристойных гнилых лохмотьях травы и листвы. Короче, совершенные декорации для готического романа...

Федор не слишком любил готические романы. Если по-правде, то он прочитал их всего два — в старом издании, еще с ятями, на пожелтевшей бумаге... Нашел на чердаке, в сундуке, в котором бабушка хранила поеденные молью старорежимные салопы да шляпки, за которые, видимо, родственники Федора просто не смогли в свое время выменять и горбушку ржаного хлеба. Книги, тяжелые, пахнущие плесенью, словно увлажненные слезами уездной барышни, назывались "Замок Отранто" и "Франкенштейн".

Только уездных барышень пугать... Призрачные монахи, пустые рыцарские латы, которые ходят по замковым стенам, живые трупы и замурованные монашки... Тот, кто прошел войну, вряд испугается призрака, а тот, кто побывал в... современных подземельях, вряд ужаснется, представив ржавые цепи на голых кирпичных стенах...

Дождь так сильно ударил в стекло мокрой лапой, что Федор словно почувствовал на лице мелкие мокрые капли. Даже электрический свет лампочки вздрогнул, как огонек классически-готической свечи.

Надо задернуть занавески... Когда-то белоснежные, туго накрахмаленные, сейчас они напоминали одновременно облетевшую цветень и паутину. Еще бы — полгода без хозяйки... И воздух в доме мертвый, нежилой — как ни проветривай, как ни протапливай печку.

А ходить еще трудно. И руки дрожат. На правой время от времени огнем горит мизинец, лишенный ногтя. Вот холера. Ничего, тело сильное, тело выдержит. Восстановится, обретет былую живость, как рыба, что сорвалась с крючка.

А что касается души... Советский офицер в душу не верит.

Поэтому то, что невыносимо щемит, порождая ночные ужасы, смело можно назвать испорченными нервами.

Федор горько улыбается, его широковатое, с крупными чертами лицо на мгновение темнеет. При взгляде на такого, как он, и мысли о нервозности и чувствительности не должно возникать. Наверное, так когда-то выглядел профессиональный охотник на зубров — коренастый, крепкий, с внимательными, прищуренными глазами под густыми бровями.

Не-ервы...

Слава Богу, что не безумие.

Хотя советскому офицеру, даже за полшага до отставки, не полагается упоминать Бога...

Быть внуком буржуазного националиста и мракобеса ему тоже не полагается, пусть кости никогда не виденного деда уже лет семьдесят, по-видимому, как гниют в ненасытной сибирской земле. Но на фронте погоны дают не за происхождение.

Его биографию перетряхнули за эти дни, наверное, до седьмого колена...

И зачем ему захотелось в том проклятом городке соскочить с поезда, чтобы сбегать в вокзальный буфет! Теперь любой чай для него будет отдавать привкусом крови.

Очередной мокрый удар дождя в окна, и — синхронно — стук в дверь.

Призрак не мог бы выбрать лучшего момента для своего появления.

Герой готического романа притих бы и сквозь озноб начал вслушиваться в таинственные звуки и принуждать себя к действию... Федор просто похромал к двери и открыл ее.

Лучше бы это был призрак.

Светловолосая круглолицая девушка с голубыми широко расставленными глазами, с упрямым носиком с едва заметными веснушками, в серой шинели, насквозь промокшей, смотрела на хозяина, как черная осень. Просто и беспощадно.

Хотя, собственно говоря, ничего страшного в девушке не было. Наоборот — если бы он впервые встретил ее на танцплощадке, мог бы пригласить на вальс. Этой ядреной девушке хотелось дать в руки серп (либо, в силу женского равноправия, молот) и сфотографировать для первомайского плаката. Если бы не потоки воды, которые жалобно стекали со светлых кос, и не застывшее выражение круглого лица.

Но Федор отдал бы все на свете, чтобы больше никогда не видеть этих голубых глаз. Невольно всколыхнулся тоскливый испуг: неужели еще не все? Он больше не может... Не хочет... Звериный, позорный страх... Федор подавил его. Как там говорила бабушка... Никому не будет дан крест тяжелее того, который он может понести.

Гостья холодно произнесла:

— Позвольте войти, товарищ Сапежинский.

Вот как, "товарищ"... Может, не так все плохо? Добавил в голос уксуса и желчи:

— Как я могу вам отказать, товарищ Рабко...

Федор отступил в комнату, взгляд его невольно скользнул в дождь и темноту — сколько призраков из недавнего прошлого еще выплывут? Девушка заметила взгляд хозяина:

— Я пришла одна.

Хозяин постарался не показать удивления и облегчения. Он прикрыл дверь, стараясь даже случайно не прикоснуться к фигуре в мокрой шинели... Потому что было глупое ощущение — от этого прикосновения стошнит, как нервную барышню от прикосновения к старой губастой жабе.

Дождь, ночь и осень ждали за дверью. Смерть смотрела голубыми, широко расставленными комсомольскими глазами.

— Я одна. Я пришла без оружия. И... никто не знает, что я у вас. И... вот...

Она протянула исписанный круглым школьным почерком листок.

Федор молча взял:

"Я, Валентина Рабко, ухожу из жизни по собственной воле. Прошу никого не винить в моей...".

Что за бред?!! Федор растерянно поднял глаза на гостью. Та смотрела куда-то за плечо, в нежилую тишину остывшего дома.

— После того, что я... с вами делала... Я... — выдохнула, словно готовясь нырнуть в холодную воду. — Короче, я сделаю все, что вы хотите.

И смотрит, чуть ли не с вызовом.

Вот как... Федор не знал, смеяться ему или плакать. Уездные барышни не изменились за последние десять веков. Хотя им вручили по комсомольскому билету, научили приемам самбо и наделили полномочиями. Совесть молодого сотрудника КГБ замучила. Чудеса. И что, он, Федор, должен эту ее больную совесть лечить? Чем? Приказать повеситься? Или собственноручно придушить?

Действительно, в течение бесконечных десяти дней мечтал об этом, считай, ежеминутно.

...После двух лет в побежденной Германии (служил в военной части в Потсдаме) он получил направление в Великие Луки, в артиллерийскую бригаду. Мечтал демобилизоваться — уж два года как закончилась война. Вернуться в университет, взяться за диссертацию, погрузиться в любимые цифры - формулы... В штабе Великолукский бригады оказался бывший однополчанин, скандалист, но хороший мужик, поэтому имелась уверенность, что поспособствует. А пока выпросил у него авансом незаконную услугу — задержаться на несколько дней, чтобы заехать в родной дом. Бабушка полгода как умерла, дождавшись Победы, но не дождавшись его, внука. Хотя ему так необходимо было кое-что успеть сказать ей... Мать погибла еще в войну — попала под бомбежку, когда возвращалась с барахолки, где выменивала какую-то кофту на еду.

Так что он ехал на родину, счастливчик, избранник судьбы, и его никто не ждал. Руки-ноги целы, на груди — три медали и орден, на погонах новенькие капитанские звездочки...

Когда до родного города оставалось ехать часов пять, поезд задержался на станции областного центра, и распространился слух, что простоят здесь не меньше часа. Люди возмущенно загудели. Кто-то продолжал дремать, некоторые потянулись на соблазнительные огни станции. И он тоже...

Эти минуты он прокручивал в памяти бесконечно. Вот буфетчица в накрахмаленной белой шапочке, и словно приклеенный ко лбу каштановый завиток, подает стакан с чаем, улыбается. Вот он стоит один у маленького столика — деревянный грибок на тонкой-тонкой ножке... Неподалеку, за таким же "грибком", семейная пара — молодые, он в ватнике, она — в вытертом пальто и белом платочке. Странный старик в шапке-треухе, облезлой так, что невозможно определить, из кожи какого зверя она была изготовлена, в такой же облезлый шубе, с сумой в руках, со страшно худым лицом, изрезанным глубокими морщинами и заросшим черно-седой щетиной, ходит меж столиков, ничего не прося, но, конечно, ему дают — кто сухарь, кто — вареную картофелину. Взгляд светлых, как речные камешки, глаз старика не мог и на мгновение остановиться ни на чем — так переступают босыми ногами по горячим углям, когда каждое промедление откликнется болью.

Вдруг глаза старика уставились на Федора — словно наткнулись на что-то острое. На дне их всколыхнулся безумный ужас, старик согнулся, как от боли, и заорал:

— Это ты! Ты стрелял! Я узнал тебя, фашистский гад! Ты!

Дальнейшее напоминало дурной сон.

Сумасшедшему верили. Ему, Федору — нет. Сумасшедший был свой, он остался последним свидетелем страшного расстрела, после чего и поехала у бедолаги крыша. Народ все еще болел войной, иногда казалось, что людей на костылях, на колясках — досках на колесиках, на улицах городов больше, чем здоровых. Повсюду ловили шпионов, полицейских, замаскированных фашистских недобитков. А у Федора оказались немецкие часы, красивый кожаный блокнотик с немецкими словами, тиснеными на обложке, а в блокнотике — формулы, циферки... И еще — потрепанная книжка карманного формата на немецком языке. Мэри Шелли, "Франкенштейн".

И по документам выходило, что теперь он должен быть не здесь, на этой железнодорожной станции, а в военной части Великих Лук.

Все довершил звонок в Великие Луки. На вопрос, прибыл ли на место службы капитан Федор Станиславович Сапежинский, бодрый голос ответил, что пусть бдительное начальство не волнуется излишне, так как фронтовики в отличие от тыловых крыс никогда не опаздывают. Однополчанин, как обещал, "отмазывал", нагло (и привычно) нарушая военный устав ради фронтового братства...

Для Федора это дружеское геройство означало приговор.

Он мог понять силу ненависти горожан. В нем уже многие "узнавали" убийцу своего отца, палача сестры, губителя детей... Сказывалась инстинктивная потребность — увидеть виновного в том, что обрушилась твоя жизнь, и пусть он заплатит...

Почему-то ярче всего запомнилось, как с него сдирали медали...

Конечно, он знал, что ошибка рано или поздно выяснится.

Но очень скоро стало казаться, что это навсегда, и надежды нет. Так, он пытался быть спокойным, и объяснял, и ставил себя на их место — сам же, когда нужно было, выстрелил предателю в затылок, не колеблясь, и никакого сожаления не имел к молоденькому белокурому юноше, считай, подростку. Словно тот и человеком перестал быть после того, как, подняв руки и нелепо пригнувшись, двинулся в сторону немцев, всхлипывая, причитая, умоляя...

А потом появилась она, ежедневно (или еженощно?) на несколько часов подменяя искушенных борцов со шпионажем. Как он понял, доверили "сбивать с него спесь" товарищу Валентине именно потому, что решили, что это особенно обидно — взрослый крепкий мужик полностью во власти стервозной девки. Только-только окончила курсы, амбициозная, страшно переживает, что не успела повоевать на фронте...

Свое первое задание товарищ Рабко исполняла со стахановским энтузиазмом.

Федора снова передернуло от воспоминаний.

А теперь она стоит перед ним, и говорит, что выполнит все...

Федор сжал зубы, помолчал. И проговорил холодно.

— Ну давай, раздевайся.

Гостья, не изменившись в лице, расстегнула пуговицы мокрой шинели, чуть не обломав ногти на коротких сильных пальцах. Поискала, куда положить шинель... Взглянула на неподвижного хозяина... Бросила на пол. Взялась расстегивать кофточку, на минуту замешкалась.

— Только... Я мало что умею. Ну... Такого...

Федор едва не застонал от отвращения — к ней, к себе, к ситуации.

— Отставить! Идиотка!

От его крика она едва не рухнула. Глаза — аж круглые от испуга.

Что ж, ему нужно было перекрикивать пушки, когда командовал орудийным расчетом.

— Застегнитесь, мадам.

На ее щеках зарделись пятна. Как у героини первомайского плаката. Мертвый воздух дома, казалось, сгущается, как перед грозой. Федор цедил сквозь зубы:

— Значит, хочешь, чтобы я с тобой что-то сотворил — в знак прощения? Так что с тобой сделать — изнасиловать? Набить морду? Поставить на колени часиков на десять? Или пристрелить? А?

Валентина сглотнула, уставившись в пол с разводами неумело вымытой грязи.

— Что, трудно чувствовать себя сволочью?

Она прикусила губу.

Федор жестко продолжал.

— Я не дам тебе облегчения, оказавшись сволочью сам.

— И… как мне дальше… жить с этим?

И смотрит ясными голубыми глазами. Кто знал, что у барышни такая тонкость чувств.

— Как жить? — Федор улыбнулся. — А как живут твои старшие коллеги, которые меня допрашивали? Почему лейтенант Кравец или майор Тусклый не приехали ко мне с просьбой набить им морды? Спят по ночам спокойно. Что они тебе сказали? Что вы все просто выполняли свою работу, да?

— Да… — Валентина крутила пуговицу на кофточке, словно этот костяной кругляшок смертельно провинился перед ней. — Сказали, что лучше, если пострадают десять невинных, чем пропустить одного настоящего диверсанта или предателя.

— А ты, значит, так не считаешь? Веришь, что до меня не арестовали ни одного невиновного? И что я — последний, кого забрали по ошибке?

Товарищ Рабко стояла, понурившись.

— Не знаю…

Ветер за окнами снова начал беситься, бросаться в окна, словно голодная птица. Люди также в поисках спасения летят на свет красивой идеи, и не понимают, что за невидимая стена внезапно

вырастает перед их искренним порывом, почему о нее в кровь разбиваются их судьбы.

Земля под стенами каждой утопии покрыта перьями и залита кровью. А в теплом доме, у очага радуются своей справедливости избранные… Которым не дано жалеть тех, что слепо бьются в окна.

Девушка переступила с ноги на ногу, Федор понял, как она устала. Что ж… Надо заканчивать разговор. Приглашать присесть как-то не хотелось. Вот же не повезло девке — первое задание, и попала на ошибочно арестованного героя войны.

— Надеюсь, вы поняли, что мне от вас ничего не нужно?

Валентина пригладила мокрые косы. Слова застревали в ее горле. Наконец она сказала:

— Мне… мне… страшно себя самой. Это оказалось так… просто. Делать другому больно. Унижать.

— Вам еще не раз придется это делать, — равнодушно произнес Федор. — Это, извините, работа, которую вы выбрали. Не чувствуете в себе достаточно силы — уходите.

Девушка упрямо закрутила головой.

— Я врагов ненавижу. Фашистов жалеть не собираюсь.

Федор смотрел в правый дальний угол, туда, где еще на его памяти когда-то висела икона, и ему, совсем маленькому, бабушка объясняла: "Это Боженька, Феденька. Он добрый, он всех прощает».

— Я родился в год революции, — медленно проговорил Федор, чувствуя, как жадно Валентина ловит его слова — первые без издевки и гнева. — Я очень горд, что я ровесник Великого Октября. Когда мне было шестнадцать, нам в пионерском отряде рассказали о Павлике Морозове, замученном кулаками. Мы все захотели также совершить нечто героическое, стать похожими на Павлика. На следующий день каждый должен был на общем собрании разоблачить какие-либо проступки перед советской властью родственников или соседей, особенно если кто из них прячет в доме иконы, или другие предметы культа, или антисоветскую литературу, или оружие. Я готовился, аж на месте подпрыгивал от нетерпения. И когда настала моя очередь, спеша, сообщил, что на чердаке нашего дома стоят большие сундуки, в одном старая одежда, а во втором бабушка прячет подозрительные бумаги, написанные на иностранном языке. Я как-то туда украдкой лазил, видел…

Меня похвалили. Товарищ в военной форме долго тряс руку и говорил о пионерской честности… Я был счастлив. А вечером того же дня у нас начался обыск.

Сундук с бумагами уволокли вниз. Пожелтевшие листы, исписанные неровным почерком. Если сложить в одну стопку, были бы, наверное, высотой с меня.

— Польские документики! — удовлетворенно объявил один из тех, кто делал обыск.

Бабушка голосом, которого я у нее никогда не слышал, начала объяснять, что это написано не по-польски, а по-белорусски, что это архив ее мужа, моего деда. Белорусский язык была запрещен, и поэтому писали латинскими буквами и не имели возможности печатать. А дед был хотя и очень верующий, но борец за народную волю, его сослали в Сибирь, где он и умер, а имение конфисковали, и они с маленькой дочкой, моей матерью, переехали сюда, в город, в маленькую хату... И бумаги имеют большую ценность для Беларуси... И... если их сейчас заберут, это будет для нее все равно, что второй раз забирают ее мужа...

И бабушка начала давиться слезами. Это немного уменьшило мою гордую радость — потому что я ни разу не видел, чтобы бабушка плакала.

Товарищ, который руководил обыском, полистал бумаги и сказал, что они все — на религиозную тематику. Все пропагандируют христианские пережитки. А если у моего деда был поместье, значит, он представитель эксплуататорского класса. И ничего ценного в этих истлевших кипах быть не может.

Бумаги увезли, и мы о них больше никогда ничего не слышали. А бабушка больше никогда со мной не разговаривала. Она... принципиальная была. Как-то я беседовал с коллегой по университету, с филфака... Тот, узнав историю о пропавших бумагах, чуть седые волосы на себе не рвал. Такие ценные исторические документы исчезли.

И я, только повзрослев, понял, что сделал. Но уже не у кого просить прощения.

Валентина недоумением смотрела на хозяина.

— Но... вы же просто выполняли свой долг. Вы сделали правильно.

Федор горько усмехнулся.

— В таком случае и ты все делала правильно. Фашисты тоже были убеждены, что все делают правильно.Что нас можно уничтожать, так как мы не люди. Я ходил по территории концлагеря, там, в Германии... Больше всего меня поразило знаешь, что? Порядок. Чистота. Разложенные в отдельные кучи пальто, кофты, обрезанные волосы, детская обувь... Их владельцев сожгли в аккуратных крематориях — строго по спискам. Вечером после "экскурсии" мы заставили

пожилого немца, хозяина дома, где временно квартировали, вычистить наши сапоги. Мы не били его, не оскорбляли, не стреляли над ухом из пистолета, как, наверное, делал его сын на захваченной славянской земле. Просто стояли молча и смотрели, как чистокровный ариец, усердствуя, потея от страха, начищает, начищает, начищает грязную кирзу.

Федор скрипнул зубами от внезапного прилива ненависти.

— И ни он, ни его бюргеры-соседи не хотели знать, что делается за украшенными колючей проволокой стенами за пару сотен метров от их домов. Человек очень легко превращается в зверя. И очень легко убеждает себя, что правда — на его стороне. Вот моя мать... Она погибла, когда шла на базар, что-то выменивать... То есть, жила при немцах, что-то пыталась заработать, торговала... Что ж она, предательница была? Если мерить строго — то так... А если не по гебистски, а по-человечески?

Вдруг девушка словно переменилось. Подняла с пола мокрую тяжелую шинель, натянула на себя — без нервозности, быстро, но уверенно. Застегнулась, мрачно выпрямилась. Федор вздрогнул... Он узнал прежнюю сотрудницу КГБ, без пола и возраста — человек-функция, которая смотрела с брезгливой ненавистью и краснела от наслаждения, когда ему становилось нестерпимо больно.

— Я действительно все делала правильно. Засомневалась, дура. А ты... ты сравниваешь сотрудников комитета государственной безопасности с фашистами?!! А еще фронтовик... Панская порода, одно слово!

Она выхватила из его рук свою «предсмертную» записку.

— Послушай, ты неправильно поняла...

В ответ хлопнула дверь.

Федор, изможденный, опустился на венское кресло со спинкой в виде деревянного вензеля, прижал забинтованную руку к груди, как ребенка. Даже начал укачивать — чтобы успокоить пульсирующую боль. Разболтался, дурак... Нашел кому душу открывать. Тоска, брат, до добра не доводит... Пожалел гадюку. На фронте было проще... Мысль показалась такой крамольной, что Федор даже головой потряс, чтобы отогнать этот бред.

За ним пришли назавтра. На этот раз ошибка исключалась. Он должен отвечать за себя. Спросили с него по полной. Не судьба была попасть капитану Сапежинскому в Великие Луки. По крайней мере, в ближайшие пятнадцать лет, на которые его осудили. С Валентиной Рабко он во время следствия не встречался — только узнавал в цитатах из доноса ее голос.

...В поезде Минск-Москва дружно позвякивали казенные ложечки в граненых стаканах с чаем. Кто-то из немногочисленных пассажиров, может, чтобы отогнать тоску, что неизбежно возникает при взгляде на осеннюю тьму, что сгущается за окнами вагона, и предчувствие бессонной ночи, разворачивал домашние припасы — бутерброды с колбасой, запеченную курицу, воспетую в качестве дорожной пищи еще Ильфом и Петровым... Ну и кое-что еще, чтобы не есть всухомятку...

Немолодой коренастый пассажир, оказавшийся один в купе, довольствовался ячменным кофе. Во-первых, натурального кофе в поезде не оказалось, во-вторых, он не любил чая. Когда он помешивал ложечкой в стакане, можно было заметить, что на мизинце нет ногтя. Что ж, по возрасту пассажир должен был пройти войну, поэтому никакие шрамы и следы ранений не удивили бы наблюдателей, но мужчина в купе находился в одиночестве. Коротко стриженные волосы почти седые, но от всей фигуры исходит спокойная сила: мощные плечи, широкое в скулах лицо, внимательные темные глаза. Крепкое сложение было хорошо видно потому, что пассажир повесил свой пиджак в угол купе, на деревянные плечики, и остался в серой водолазке — стильном тонком свитере с воротником под горло (такие в Советском Союзе еще не делали). Мужчина отпил кофе и бросил печальный взгляд на стопку папок, которые лежали тут же, на столике. Ну не было времени как следует подготовиться к конференции. Значит, придется просматривать сейчас. Опять не удастся выспаться...

В дверь купе постучали, скорее символически, чем спрашивая разрешение войти, так как дверь тут же распахнулась. Проводница, грузная, вся словно вылитая из какого-то твердого материала, с невыразительным плоским лицом и светлыми, широко расставленными и также неясными глазами, громко спросила:

— Белье брать будете?

Единственный обитатель купе почему-то молчал, глядя на хозяйку вагона, как искушенный искусствовед на отлично известную ему картину выдающегося мастера, которую только что объявили подделкой.

— Мужчина, не задерживайте меня! Если будете брать, один рубль пятьдесят копеек.

Пассажир, стряхнув с себя оцепенение, потянулся в угол, к пиджаку, достал из внутреннего кармана портмоне.

— А деньги, мужчина, в общественных местах при себе держите. А то пропадет какая-нибудь ерунда, на проводника сразу наседают. Кто-то у них всегда виноват...

Сварливый голос проводницы звучал уже в коридоре, было слышно, как она стучит в дверь следующего купе...

Федор закрыл лицо руками.

Не узнала... Или сделала вид, что не узнала? Разве по ней поймешь...

Да и о чем им говорить? Или товарищ Рабко снова захочет покаяться перед ним, теперь уже за шесть лет лагерей, куда попал после ее доноса, в Сибирь, как когда-то его дед? Нет, каяться дама не будет. Скорее, до сих пор сожалеет о своей юношеской временной слабости, когда приехала в дом бывшего подследственного со смешной запиской "Прошу никого не винить в моей смерти", готовая даже быть убитой, лишь бы избавиться от укоров совести.

А может, захочет и сегодня доказать, что... органы не ошибаются?

Мерзкий холодный страх зашевелился под сердцем, как улитка. Вот же — заметила, наверное, что на нем иностранные вещи. А во время последней командировки в Братиславу был тот ненужный и слишком откровенный разговор с соотечественником-эмигрантом... И Сапежинский, когда писал закрытый отчет об их научной группе — а что вы думали, выпустил бы его кто за границу, если бы не согласился "отчитаться" перед органами? — обо всех коллегах честно написал, а об этом своем разговоре — нет. А потом ему передали от того эмигранта ностальгический подарок — готический роман "Франкенштейн" в переводе на белорусский язык. И он с радостью принял. А еще есть записанные по просьбе приятеля-историка воспоминания — все, что знал про деда, теолога и повстанца. Совсем мало, обрывки подслушанных бабушкиных разговоров, то, что осталось в памяти из просмотренных дедовых бумаг — опять отдельные фразы, названия произведений... Приятель сказал — пока, конечно, это не пойдет, но когда-нибудь... Обещал никому не показывать...

Есть и еще грешки... Теперь донос, пусть от обычной проводницы — и накроется поездка в Люблин...

В конце концов, для него все закончилось хорошо. В лагерях попал в специальное техническое бюро — выручили научные знания, артиллерийский опыт и удача: как раз срочно понадобился специалист его профиля. Потом — освобождение в переломном пятьдесят третьем, после смерти Сталина. Реабилитация, университет...

А вот у товарища Рабко, кажется, карьера не удалась... А он думал, что она уже как минимум майор или подполковник.

Поезд продолжал свою монотонную песню, то ли жалуясь, то ли безнадежно проклиная, словно металлический Франкенштейн, оживленный для рабского труда. И никому не было дела до его механических усилий, до того, правильно ли бьется его железное сердце, и до машиниста, который всматривается в ночь, в которую летит будто бы сам по себе временный дом для нескольких сотен людей, который так легко может стать их последним домом, превратиться в лодку Харона.

...Поезд по одной выплевывал заспанные души на мрачный, как берег Леты, перрон Белорусского вокзала. Федор Сапежинский, в плаще, с портфелем, в надвинутой низко на глаза шляпе протиснулся мимо проводницы... Но взгляд как будто сам по себе скользнул в сторону. На мизинце короткопалой руки, которая держала красный флажок, не было ногтя.

Когда Федор, уже отдалившись от ярко освещенного вокзала, проходил мимо урны, то, осторожно оглянувшись, выбросил в нее завернутый в газету "Правда" потрепанный карманный томик с готическими буквами на обложке.

2008

ЖЕЛЕЗНАЯ КНОПКА

В те времена я увлекалась постимпрессионистами. Не то, чтобы я полностью понимала их искусство — скорее, нравились они сами: молодые, дерзкие, бедные...

Я тоже была молодая, дерзкая и бедная. Как, по крайней мере, половина моих однокурсников.

Что может сравниться по остроте переживаний с первыми днями в большом городе, когда ты, еще вчера выпускник провинциальной школы, присоединился к творческой элите столицы?

Твой студенческий билет сияет золотом тиснёных букв, и ты подаешь его в окошки театральных администраторов с неподражаемой горделивой скромностью... Тебе читают лекции знаменитые профессора, а руководитель твоего курса, бородатый неопрятный мужчина в свитере ручной вязки, — тот самый Художник, на холсты которого ты смотрел часами, пытаясь разгадать такой простой секрет их притягательности...

И впереди — прекрасные пять лет в этом прекрасном городе!

Я долго не могла найти подходящую соседку по комнате. Для кого-то я была слишком нехозяйственная, для кого-то — слишком «правильная». Наконец поселилась со мной одно странное существо — Ритка Качар. Маленькая, как ребенок, худенькая, в очках, с мальчишеской стрижкой и всегда — в длинной широкой юбке, на подоле которой вечно оставались отпечатки чьих подошв, по крайней мере после каждого занятия по рисунку, где все сидели, сбившись в небольшом кабинете, и не каждый был настолько деликатен, чтобы переступать через подол Риткиной юбки.

В одном из детских фильмов про советскую школу фигурировал персонаж — девочка по прозвищу Железная Кнопка. Если бы мне пришлось придумывать кличку для новой соседки, лучшей не придумала бы. Ритка была в большой обиде на жизнь. Особенно напирала Ритка на тот факт, что после школы должна была с год работать уборщицей.

— Я чужие плевки подтирала! — гордо заявляла Железная Кнопка преподавателям-экзаменаторам.

Некоторые из них, наверное, чувствовали при этом свою вину и безропотно расписывались в Риткиной зачетке. А другие, кто также пришел на свои должности не из дворцов, только смеялись или возмущались — в зависимости от характера. И поэтому за Риткой с первой сессии потянулись «хвосты». Она возвращалась с несданного экзамена и жаловалась мне на несправедливость жизни, обещая, что обидчикам это не попустит. Ведь имела Ритка талант находить влиятельных «опекунов» — пожилых чиновников от искусства. Она приходила в их кабинеты, трогательно рассказывала о «чужих плевках», и после наш декан бегал по институтским коридорам багровый от бешенства и громко ругался, что один «пень» из министерства звонил, чтобы «соплячке» с первого курса поставили положительную оценку по истории КПСС.

Рисовала Ритка все в тусклых зеленовато-коричневых тонах. Все лица в ее исполнении казался опухшими и побитым, словно яблоки-опадки. Возможно, можно входить в искусство и с этим, но в Риткиных картинах всегда чувствовалось излишнее усердие и полное отсутствие фантазии. От того все казалось неестественным и неинтересным. Тем более, что мастерства по сути еще не было — да и кто из нас, вчерашних школьников, его имел? Но Ритка изображала «правду». И это была еще одна причина требовать к себе особого внимания.

Роднило нас с Риткой ненормальное равнодушие к материальной стороне жизни. Да и не имели мы, «безотцовщина», средств на

какие-то изыски. Высшим нашим кулинарным достижением была вареная свекла, а самыми шикарными нарядами — купленные к выпускному балу платья.

Я любила рисовать по ночам. Просто сидеть в тишине и при свете настольной лампы делать маленькие «почеркушки» — на покрытом восковой краской кусочке картона працарапывать изображение тончайшей иглой. Мне казалось, что, оставляя в плотном цветном фоне белые или черные штрихи, я процарапываюсь в другой, лучший мир, куда когда-нибудь уйду... Но Ритка спала очень чутко и не терпела абсолютно никакого шороха. Поэтому время от времени мои ночные «экзерсисы» пресекались ее пронзительными матами действительно мастерского исполнения.

Та зима была чрезвычайно сурова. И в самые морозы случилось неизбежное — латаные-перелатаные трубы общежитейской системы отопления полопались, и в комнатах воцарился бесстыдный Зюзя — древнее славянское божество холода. Он хватал настывшими руками нежные тела студенток, и никак невозможно было его выгнать. Мы с Риткой обогреватель имели один на двоих, самый дешевый: вогнутую блестящую тарелку, в центре которой, как влюбленное сердце, пунцовела спираль... И совсем как такое сердце, она погасла без всякой причины и навсегда. Впереди ждала долгая зимняя ночь...

Я бережно подняла наш потухший очаг и пошла по длинным коридорам, раздумывая, к кому можно обратиться за помощью. Близких друзей у нас с Риткой не было. Дразнили нас «монашками», «гордыми одиночками» да еще почему-то «бабизонцами», наверное, вспоминая одновременно Робинзона, любителей французской природы барбизонцев да нашу женскую — «бабью» — натуру. По узкому загроможденному переходу я перешла в тот корпус общежития, где жили ребята. Здесь всегда было шумно, воняло красками и дешевым вином и встречались самые невероятные личности... Вот как этот тип с бритой головой и серьгой... Или вон те двое, длинноволосые и перепачканные красками, что тащат к себе гипсовую Венеру. К одному знакомому я просто побоялась заходить, так как из-за его двери раздавался пьяный гул. Второго в комнате не было — или не открывал?

— В чем проблема, ясная панночка?

Я резко обернулась, готовясь защищаться. Но в парне, заговорившем со мной, не было ничего страшного: конечно, он имел традиционно длинные волосы и потертую джинсовую одежку, но с лица — типичный очкарик, мальчик-интеллектуал, воспитанный строгими родителями в строгих моральных нормах. Я даже не сразу

поняла, чем еще впечатлил незнакомец: он обращался ко мне на хорошем белорусском языке. Тогда это еще не было ни модой, ни политикой, а так — непонятным чудачеством или свидетельством «простоты». Ведь даже в моем родном городке на «мове» говорили одни старики, а мама — она растила меня одна — работала фельдшером, по здешним меркам, начальницей, и словно уже не имела права говорить по-простому. Так что я даже растерялась, не зная, как ответить.

— Так что случилось? Могу помочь?

— Обогреватель сломался, — пробормотала я и спрятала озябший нос в воротник из искусственного меха.

— И только? — парень властно взял испорченную технику у меня из-под мышки. — Ничего страшного, отремонтируем!

После этого случая Игорь стал заходить в нашу комнату. Обычно он приносил с собой всякие вкусные вещи: домашнюю колбасу, сало, а то горячий омлет или драники, спрятанные между двух мисочек. Он никогда не требовал и не делал ничего, что могло бы напугать меня, которую мать и тетки перед отъездом на учебу подробно проинструктировали насчет дьявольских городских парней. Не исключено, что такие же инструкции насчет «блатных девок из общежития» получил и Игорь. Поэтому знакомство наше было не завоеванием друг друга, а счастливой встречей надежных союзников в противостоянии ненормальному миру, который окружал нас.

Игорь учился на предпоследнем курсе и уже участвовал в нескольких общих выставках, а его, как он сам называл, «свободные портреты» маслом покупали даже иностранцы у художественного салона. Чем-то напоминал мне Игорь моих любимых постимпрессионистов, хотя сам не был их сторонником:

— Я — человек старомодный, — часто повторял он. — Живопись Леонардо — высшая ступень развития искусства, и я не хотел бы, чтобы над кроватью моего будущего ребенка красовалась репродукция «Черного квадрата».

Приобщил меня Игорь и к белорусскости — то, что казалось чудачеством, стало естественной частью моей жизни. Особенно нелегко далось приучить себя думать на родном языке: не разговаривать — это не так сложно, даже если переводишь в уме, а думать. Иногда мои мозги представлялись мне палимпсестом – древним пергаментом, на котором стерли старую запись и использовали для другого текста. Но следы старых строк все-таки сохранились, и теперь, постепенно и неодолимо, они проступали из-под более поздних.

Ритка-Железная Кнопка вначале относилась к моему новому знакомству иронично. Когда же наша с Игорем дружба начала приобретать монументальные черты, высказалась:

— Он тебе не пара. Смотреть смешно: высокий, худющий, а ты кругленькая, беленькая… Штепсель и Тарапунька!

Я только посмеивалась. Всегда такая положительная и подозрительная, стала абсолютно независимой от мнений всего мира. Имели значение только мои отношения с Игорем. А Ритка планировала свое. Стоило мне уехать на выходные домой, она стучалась в дверь комнаты Игоря, прося то что-то отремонтировать, то дать творческий совет, то «три корочки хлеба для бедного Буратино». Наверное, если бы была Ритка хоть немного более привлекательной, я со своим интровертным характером порядком психовала бы… Но мне были в какой-то степени даже приятные неумелые Риткины ухаживания (вот она, проявилась, вредная женская натура). А Игорь старался заходить, когда я была одна — лишь бы не крутиться на стуле под обжигающим Риткиным взглядом.

— Приходи ко мне сама, — объявил Игорь.— Все знают, что мы поженимся, так чего стесняться?

Сосед Игоря в основном пропадал где-то на квартире в городе, и вечера мы проводили вместе. Это воспринималось как должное, разве что воспитательница общежития, с которой время от времени мы сталкивались в коридоре, отпускала обязательную реплику насчет того, что «шляются тут всякие» и разъясняла, кто конкретно шляется…

В марте Игорь сказал:

— Предлагают мне хороший заработок, в зачет практики. Но надо уехать на два месяца в дальнюю даль — восстанавливать фрески тринадцатого века. Там заброшенную церковь в «свете последних постановлений» срочно превращают в памятник мирового значения… Будут деньги на свадьбу, — убеждал меня, а больше сам себя Игорь. — Подумаешь, два месяца! Я тебе каждый день буду писать. А там и у вас практика, а к летней сессии я вернусь!

Деньги нужны всем: нищим и миллионерам, торговцам и поэтам, неизлечимым алкоголикам и изысканным дамам (последним, наверное, больше остальных). Игорь уехал, и потянулись скучные дни без него. Обычно я была в восторге от наступления весны, радовалась каждой проталинке, ни с чем не сравнимому весеннему воздуху, когда нет еще ни листьев, ни травы, но является уже безымянный аромат пробужденной природы, который кружит головы и заставляет ждать и надеяться даже тех, кто перестал ждать и надеяться!.. Но та весна была просто фоном моего ожидания. Я даже не думала, что

между мной и Игорем возникла такая сильная связь, и такой болью отзовется разлука...

Пришло письмо, от которого почему-то пахло табаком, хотя Игорь не курил. А в стандартном конверте с изображением кактуса — прекрасные Игоревы рисунки... Вот эта дама, закутанная в шаль и исполненная томного ожидания — непременно я, а этот несчастный Менестрель с пробитым сердцем — Игорь...

Я перечитывала письмо, рассматривала картинки, устроившись в неубранной кровати, а напротив меня сидела с книжкой Ритка, но, судя по всему, не столько читала, сколько сгорала от желания заглянуть в Игорево послание. В последнее время мы с соседкой не совсем ладили. Правда, она перестала убеждать меня, что мы с Игорем не пара, зато все чаще восхищалась моим необычным талантом, пророчила мне большое будущее в искусстве, ради которого, конечно, мне следовало пожертвовать примитивными жизненными устремлениями и полностью посвятить себя творчеству.

— Ты только представь, — доверчивым тоном говорила Ритка, — у тебя в голове — великолепная картина, невероятная гармония красок. А в ванной — гора грязных пеленок, на плите суп из кастрюли выкипает, дети ревут, а муж сидит с газеткой и ждет, чтобы ты на подносике обед принесла! Такая доля — не для тебя!

Наверное, мое непробиваемое безразличие к таким душевным разговорам добавляло горечи в и без того горькую Риткину жизнь. Ей никак не давалась французский язык. Ритка по совету преподавателя-«француженки», утонченной нервной дамы, носила в кармане ложку и время от времени, засунув ее глубоко в горло, пыталась произнести нездешние «ои-уи». Но ничего не помогало, «француженка» чуть не срывалась во время каждого Риткиного ответа, а Ритка стала бегать по кабинетам высокопоставленных знакомых и плакаться на бюрократизм преподавателей, вспоминая собственноручно подтертые «чужие плевки». Результатом был звонок к декану, но на этот раз даже тот, кто звонил, чувствовал себя неловко и, очевидно, понимал несостоятельность просьбы об освобождении студентки Маргариты Качар от экзамена по французскому языку...

На практику Ритка ехала с еще большей обидой на весь мир, чем обычно, а весенний мир был чудесный! Мы оказались в старом городке, где костел и церковь стояли по разные стороны торговой площади, а жители не потеряли старосветской вежливости. Так получилось, что мы опять поселились вдвоем с Риткой — в маленькой комнатушке, пристроенной к большому дому... Дом был «шляхетским» — на два конца, и посередине — крыльцо с двумя столбами-

колоннами. Двери нашей пристройки и единственное окно открывались в густой сад, который готовился зацвести. Я написала Игорю и сообщила новый адрес, но ответа долго не было. Я не волновалась по этому поводу — настолько сильна была моя вера в Игоря. А вот Ритка получила письмо и, очевидно, не из дома. Демонстративно села напротив меня, торжественно раскрыла конверт и положила так, чтобы я могла видеть. Одно слово в обратном адресе привлекло мое внимание: это же тот город, где сейчас Игорь! Взгляд остановился на фамилии отправителя: Сурин! Виктор Сурин, который и предложил Игорю ехать в эти заработки! Когда Ритка успела с ним познакомиться?

Конечно, мне хотелось узнать, что пишет Виктор и упоминает ли Игоря. Но спрашивать было неудобно: слишком уж язвительные взгляды бросала на меня Ритка во время чтения. Через неделю пришло письмо и от Игоря — в тот день, когда на тонких ветках вишен закачались первые белоснежные цветы-бабочки. Я нетерпеливо разорвала конверт, заметив краем глаза, что в руках Ритки также появилось письмо, и вот уже словно слышу любимый голос... Мое внимание отвлек Риткин возглас: она, очевидно, вычитала в своем письме что-то впечатляющее. Некоторое время Железная Кнопка молча смотрела на меня, словно колеблясь, а потом протянула мне свое письмо, указывая пальцем место, которое надлежало прочитать: «Знаешь, Ритуля, надоели мне эти Игоревы игры. То, что сейчас прочтешь, не рассказывай никому — ведь никто не знает, даже родители Игоря. Но ты у меня молодец, можешь держать рот на замке, если нужно... Так вот, Игорь со мной не поехал, а лежит в кожвендиспансере. А мне, как уезжал, дал целую кипу писем к родителям и к своей девушке, чтобы я отсюда их отправлял, как будто он со мной работает. Говорил, что у него какая-то аллергия. Но я случайно нашел среди бумаг, что он мне оставил, направление из того диспансера. А там черным по белому написано, что у нашего Игорька — сифилис, что меня лично не удивляет. Ты знаешь ту девушку, к которой я письма пересылаю, - Олю Королевич, и девушка, кажется, приличная... Так поговори с ней деликатно, чтобы не слишком по Игорю сохла...».

Я перевернула страницу, и на мои колени слетела небольшая бумажка со штампом позорного лечебного учреждения...

Ишь ты, какой поклонник истины, и документ приложил...

Сказать, что я была ошеломлена, значит сказать очень мало. Я чувствовала, что никогда в жизни не получала удара такой мощи... Ритка с сострадательной улыбкой взяла письмо из моих онемевших

пальцев и потянулась за справкой. Молнией сверкнула мысль: не надо, чтобы это видел еще кто-то! Мои пальцы сами собой сжались:

— Я оставлю это себе... на память.

Ритка была почему-то недовольна, но, встретившись с моим взглядом, отвернулась и проворчала:

— Как хочешь... На твоем месте я никакой «памяти» не захотела бы...

Ночь прошла для меня без сна. Снова и снова вспоминала я безжалостные строки. Все — обман... И письма, и слова... К горлу подступал холодный комок страха — а если я тоже... Правда, близости между нами еще не было... Но все же... Я мучительно вспоминала прочитанные где-то симптомы этой болезни. Кажется, нет... А если прислушаться...

Постепенно мои мысли устремились к самому Игорю. После бурной волны мысленных обвинений пришли воспоминания: как встречали Рождество, как ездили в Вильнюс и проползли под Острой Брамой на коленях, чтобы Матерь Божия Остробрамская выполнила наши желания... И как мы рисовали одновременно друг друга, а после сложили свои картины в двойной портрет... И как Игорь приносил мне горячие драники между двух мисочек и поил меня молоком с медом, когда я болела... Подушка моя была уже насквозь мокрая. И невольно представилось, как Игорь тоже лежит теперь на подушке, больничной, пропахшей карболкой, и, может, тоже не спит, и нет у него ни одного человека, который бы ему посочувствовал, и голодный он, наверное, потому что передачи ему никто не носит... Гнев и обида отхлынули от меня, как грязная болотная жижа. Неужели я действительно такая бесхарактерная, не имею собственного достоинства, как говорит Ритка?

Но злобы больше не было. Жалость к Игорю, такая нелепая, спасла меня, вытащила из трясины отчаяния... Мало что с человеком может случиться! Я нарочно представляла себе Игоря с отвратительными проявлениями болезни, опустившегося, небритого... И убеждалась, что люблю его, люблю всяким!

...И ложе, и болезнь, и смерть — одни на двоих...

Утром, под мирное посапывание Ритки (так необычно сильно и сладко она спала!) я тихонько оделась и побежала на автобусную станцию. Из всех вещей прихватила только сумочку с деньгами.

И вот опять вокруг меня бестолково гудит столица, «блудница вавилонская», способная испортить самого чистого и искреннего человека. Я пересчитала деньги... Не так много, но хватит! Накупила

золотистых апельсинов, крупных грузинских яблок, смугло-красных... Но ведь это не пища для больного человека... Последнее потратила на курицу и поехала в общежитие. Там было тихо и пусто — только студенты последнего курса еще не уехали на практику. В кухне общежития я первый раз в жизни сварила куриный бульон, перелила его в термос, а куски курицы по методу Игоря спрятала между двух мисочек...

Ну вот, можно ехать...

Кожвендиспансер в городе единственный. Улицы, на которой он находится, люди сторонятся. Доехала я до нее без приключений, а вот само здание пришлось поискать — ведь я не осмеливалась спросить про него...

Наконец я стою перед замазанными краской стеклянными дверями и не решаюсь взяться за ручку. Только сейчас пришло в голову, что сегодня может быть неприемный день, что в это время передачи могут не брать, что Игорь вообще мог уже выписаться...

Но стоять в таком месте, когда кажется, что на тебя устремлены презрительные взгляды, еще хуже... И я осторожно, двумя пальцами взялась за ручку (страшно представить, кто к ней прикасался!). Дверь бесшумно открылась.

В холле я сразу заметила табличку, которая красным по белому сообщала, что прием передач для стационарных больных ежедневно с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00. Часы над вывеской показывал половину пятого... Придется подождать.

Я, чувствуя, что щеки мои пылают, двинулась к деревянным откидным, как в старых кинотеатрах, креслам...

— Оля!

С другого конца коридора ко мне шагал Игорь. Какой-то растерянный, с блуждающей улыбкой на губах, а в руке — полная авоська.

Слезы неизжитой обиды подступили к глазам...

— Ты, оказывается, уже выписался?

— Откуда?

— Не притворяйся, я все знаю... Отсюда!

Мы смотрели друг на друга, и где-то на уровне подсознания появлялась безумная радость. Игорь протянул мне авоську и срывающимся от внезапной догадки голосом проговорил:

— Я тебе передачу привез. Как получил от Ритки письмо, что ты тут лечишься, сразу все бросил, на самолет — и сюда...

Я заглянула в его авоську: золотистые апельсины, краснощекие яблоки и — две знакомые мисочки, от которых пахнет драниками... Да еще — мои любимые конфеты, целая шикарная коробка...

Я дрожащими руками достала из сумочки справку, отобранную у Ритки, и протянула Игорю. Он протянул мне такую же — только с моим именем.

Боже, будь благословен Ты и тот прекрасный мир, который Ты создал! Железную Кнопку подвело, как всегда, излишнее усердие и отсутствие фантазии. Она удачно придумала написать Виктору и «выдурить» письмо от него под каким-то пристойным предлогом — кажется, попросила прислать ей зарисовку тамошней архитектурной детали. Удачно подделала и штамп кожвендиспансера. А дальше решила действовать сразу в двух направлениях и одновременно: как только послала «обличительное» письмо Игорю, аналогичным образом сообщила «всю правду» мне. И уж, разумеется, не могло ей прийти в голову, что мы сразу кинемся друг другу на помощь.

В холле кожвендиспансера, под подозрительными взглядами хмурой регистраторши и нервных посетителей мы обнимались, как сумасшедшие, плакали от счастья, словно спаслись от смертельной опасности, словно увиделись после долгой-долгой и безнадежной разлуки...

Никакой злости на Железную Кнопку не было — ведь благодаря ей мы пережили такие чудесные минуты!

Из больницы мы пошли в общежитие и там шикарно поужинали «передачами».

А назавтра утром подали документы в Загс.

После летней сессии Ритку отчислили из института за неуспеваемость и профессиональное несоответствие. Больше я никогда ничего о ней не слышала.

Наша с Игорем свадьба состоялась в военном городке, где жил его отец-полковник и мать — учительница белорусского языка. На свадьбе гуляли многие из наших однокурсников, а злосчастный Виктор был у Игоря шафером. С тех пор прошло не так уж мало лет, и дети наши с восторгом лазают по большой отцовской мастерской, на светлой стене которой, под самым потолком — непродажная картина: парень и девушка, счастливо-растерянные, идут друг к другу, держа авоськи с золотистыми апельсинами, а на переднем плане почему-то изображена нацеленная острием в пространство обычная чертежная кнопка...

ДНЕВНИК ПАНИ

Единорог

Пересыпаю минуты с ладони на ладонь. Они блестят и нежно шуршат, словно жемчужины. В полупрозрачном центре каждой — острый зрачок вечности. Может быть, это действительно всего лишь жемчужины.

Сегодня снова мимо замка проезжали *эти*. Что-то кричали, то ли звали с собой, то ли грозились. Страусиные перья покачивались на их шляпах бело-розовыми облачками, а на кожаных перчатках издалека поблескивали железные заклепки. Я никогда не обращаю внимания на тех, кто проезжает через парк. Это непристойно.

Минуты ссыпаются на бархат совсем беззвучно. Но иногда они соскальзывают с моих колен и бьют по каменным плитам пола звонким дождем. Я не люблю дождь. Когда под моим окном гаснут последние цветы шиповника, дождь начинает идти каждый день. Сквозь его серую вуаль видны только темные очертания деревьев. Они отчаянно заламывают ветви в лохмотьях поредевшей листвы, и раскачиваются, и кланяются в вечном молении живого о жизни. Шиповник еще не отцвел.

— Пани, в вашем лесу появился белый единорог.

Человек низко склонился передо мной, и я не вижу его лица. Может, он и улыбается — этак ехидно, уголками губ, как умеют улыбаться только преданные слуги.

— Никто его пока не напугал?

— Нет, пани. Его видели только издали, возле старого вяза, по дороге к озеру. Но это точно единорог. Белый, очень красивый зверь.

— Прикажи седлать моего коня...

— Слушаюсь, пани... — И вновь я не успеваю уловить выражение его лица.

Почему-то я более представляю, какие выражения лиц должны быть у тех, кто рядом со мной, чем действительно вижу это. Особенно не люблю заглядывать в чужие глаза. Мне кажется, что те плоские чувства и мысли, которые я там могу прочитать, перейдут ко мне и прилипнут к моей беззащитной душе, так что забуду, какая я — на самом деле, где — мое ощущение, а где — чужое.

Поднимаюсь с кресла, и жемчужины ссыпаются с моих коленей на камень. Одна из них катится долго-долго, я слышу ее до тех пор, пока не выхожу из зала.

Единорог действительно возле старого вяза. Он белый, как туман. Напоминает небольшого коня с нелепо короткими ногами. Глаза у него огромные, черные и влажные, а рог над ними глядится совсем не грозно. На него налипли травинки.

Я глажу единорога по склоненной шее, и он покорно кивает головой. Деревья негромко шумят, полные жизни и листьев.

— Уходи отсюда, — тихо говорю я единорогу.— Я не могу взять тебя в свой замок. Понимаешь, там — люди. Им свойственно смотреть мимо глаз и тайком улыбаться. И тут ты не можешь остаться. Сюда рано или поздно придут *Те*... И я не смогу защитить тебя. Я даже не замечу, если они тебя обидят. Это было бы непристойно. Извини.

Единорог как будто понимает меня, он неуклюже поворачивается и бежит в чащу, и я замечаю, что на деревьях уже есть первые засохшие листья — единорог отрясает их с ветвей.

Мои жемчужины, собранные чьими-то заботливыми руками, лежат в открытой шкатулке. Я не буду пересчитывать, все ли они на месте.

— Пани видела единорога?

Теперь я, кажется, успеваю уловить выражение его лица. Почему-то укоряющее.

— Пани оставила его в лесу?

Разве я должна оправдываться перед кем-то? Он понимает, что я разгневана, и с низким поклоном выходит. Но я никогда не выкажу своего гнева. Это непристойно.

Мимо замка вновь проезжали *эти*. Я сидела перед окном, минуты с сухим шелестом пересыпались с ладони на ладонь и были холодны, как кусочки льда. *Эти* проехали особенно близко, едва не задели кусты шиповника, с хохотом махали мне и куда-то звали — или просто насмехались. Конь первого из них был покрыт белой, как туман, шкурой...

А шиповник почти отцвел... Нужно сказать, чтобы из кладовой принесли зеленый ковер. Когда жемчужины падают на него, их очень тяжело отыскивать в лохматом ворсе, пропахшем столетней пылью. Зато не слышно, как разбивается мое время о холодный камень.

Ведьма

Сегодня забавлялась с солонкой работы Бенвенутто Челлини. Чудесная вещица в виде ракушки, которую обнимает маленький мальчик. Ракушка украшена крупными жемчужинами, словно брызгами морской воды. Если нажать на среднюю жемчужину,

створки ракушки приоткрывают волнистые края — чуть-чуть, чтобы меж утонченными зубчиками могли просыпаться крупинки соли. Если нажать на жемчужину три раза подряд, ракушка открывается вся, и можно насыпать туда соль. Но никто за последние сто лет не насыпал соли в эту прелестную игрушку — ее просто приятно держать в руках, смотреть на нее. Неукротимый Бенвенутто всегда превосходил сам себя, когда делал такие вещи, — в подарок тем, кого крепко обидел. Вслед за каждым его грехом либо прямым злодейством возникал ювелирный шедевр, которым мастер откупался от справедливого гнева. Я часто думаю, какой именно грех породил эту солонку, — ее первой обладательницей была женщина. Вряд ли это был грех любви — иначе солонкой владели бы потомки той итальянской аристократки, а не я.

— Пани, на ваш милостивый суд привели ведьму.

И снова я не успеваю уловить выражение лица человека, который обращается ко мне. Вижу только низко склоненную спину.

Ведьму привезли *эти*. Они не осмелились зайти в замок, но я слышу их непристойно веселые голоса и смех под своим окном. Кто-то из них начинает даже насвистывать какую-то бродяжью песенку. Это слишком! Постараюсь разобраться с делом быстрее.

Ведьма стоит посреди зала на моем зеленом ковре. Ее босые ноги по щиколотки утопают в шерстяной пыльной траве. Ведьма сразу показалась мне подростком. Но я присмотрелась и поняла, что ошиблась. Это взрослая женщина приблизительно моих лет, только невысокая и худая. Она смотрит на меня исподлобья узкими зелеными глазами. Я ощутила, что ее взгляд направлен на мои пальцы, которые нажимают на жемчужину серебряной солонки, то открывая, то закрывая ее ракушку. Мне стало неприятно. Я поставила игрушку на столик и строго сцепила руки на коленях. Все это время кто-то едва не плачущим голосом рассказывал про злодейства маленькой женщины, что стоит передо мной. Не помню точно, кажется, местные крестьяне обвиняли ее в том, что она умела летать, вызывала ветер и дождь и выпивала чужую жизнь. Вдруг я осознала, что ведьма настойчиво заглядывает мне в глаза. Меня передернуло, словно пришлось переступить через жабу. Я молча смотрела на свои сцепленные руки и старалась думать о том, какие у меня красивые тонкие пальцы, как невероятно нежно просвечивают сквозь бледную кожу голубые жилки. Я сжала пальцы немного сильней, и жилки набухли, выступили над поверхностью кожи. Нет, кажется, это непристойно.

Я поднимаю правую руку вверх, а затем резко опускаю ее, словно хочу убить что-то мелкое. Плаксивый голос умолкает, ведьму выводят из зала. Ковер поглощает звуки шагов.

Интересно, у меня тоже узкие зеленые глаза. Я беру со столика солонку и пытаюсь в блестящей серебряной поверхности рассмотреть свое отражение. Встречаю взгляд ведьмы и снова ставлю солонку на стол. Под окном заорали *те*. Скоро топот их коней смолк. Ведьму они, конечно, забрали с собой. Но что они с ней могут сделать, веселые, злые, беспомощные, и что она захочет сделать с ними, та, что выпивает жизни?

В зале никого нет. И я еще раз повторяю свой величественный жест: рука — вверх и резко вниз, как будто в это движении есть какой-то смысл и неизбежность.

Кто знает, может, и есть.

— Может, пани желает зажечь в зале свечи?

Действительно, уже стемнело. На столике появляется подсвечник с четырьмя желтыми свечами. Они разгоняют островок темноты вокруг меня. Медленно подношу ладонь к оранжевому, с синей полоской внутри огоньку. Больно, но я не сразу отнимаю руку. Теперь на ней долго останется поцелуй огня.

За окном тоже темно, но где-то далеко со стороны деревни видится неяркое светло, словно зажгли огромную свечу.

В каждой жемчужине солонки горит маленький желтый огонек и прячется взгляд узкого зеленого глаза.

Пожалуй, я насыплю в эту штуку соль.

Бал

Когда мое окно завешивают серой вуалью дожди, я знаю, что скоро состоится бал. Каждый год, в один и тот же день, всегда грустный и дождливый. В большой зал вносят позолоченные канделябры, чтобы свет разливался в каждый угол. Меня одевают в платье из такой плотной, упругой ткани, что, когда я сажусь, ткань сгибается с легким треском, словно ломается. Зато держишься в таком наряде необыкновенно прямо и с достоинством. Это искупает некоторые неудобства.

Гости каждый год одни и те же. Их немного, но никто ни разу не пропустил дня бала. К тому же приобщать к своему кругу новых людей непристойно.

Обязательно приедет Мадам. Мне не очень нравится ее манера обращаться ко мне, как к маленькой девочке. Она считает, что может

давать мне советы, и делает это с удовольствием. К сожалению, я не могу прерывать ее и вынуждена отвечать: "Да, мадам… Благодарю за заботу, Мадам". Хотя если бы я имела такие толстые пальцы с короткими тупыми ногтями, выпуклые травянистые глаза и всегда безвкусно подобранный яркий туалет, я сидела бы тихонько и слушала других. Но Мадам никогда никого не слушает. Даже Доктора. Разумеется, это не простой кровопускатель. Иначе никогда не попал бы в наш круг. Он даже с виду благороден и утончен. Его губы строго поджаты, а взгляд глаз болотного цвета острый, как ланцет. Доктор говорит редко, но каждое его слово — удар золотого динария о каменный стол. Я не всегда понимаю его слова, но скорее умру, чем признаюсь в этом. Когда Доктор говорит, он никогда ни на кого не смотрит, словно считает равным себе собеседником только самого себя. Но мне кажется, что он обращается именно ко мне, что во мне он усмотрел острый неженский ум, и мне когда-то передаст основы своей таинственной науки. Во что одет Доктор, я даже не могу вспомнить. Он всегда в чем-то темном.

Разумеется, приедет и Кузина. Она настоящая дурочка. Обыкновенная хорошенькая идиотка с огромными изумрудными глазами и маленьким розовым ротиком. Кузина меня обожествляет. Вот уж в чьей любви не чувствую потребности. Она б очень хотела со мной поговорить, вот только, бедняжка, не знает, о чем. Уставится на меня своими изумрудными глазами, мило улыбается, иногда произносит птичьим голоском какие-то банальности. Ее особа не интересует никого, кроме Шута и Бретера. Это я придумала им такие прозвища. Шут и Бретер — два брата. Шут, неуклюжий и курносый, преисполнен какой-то щенячьей веры в благоустроенность мира и божественность его жителей. Он страшно хочет быть всем полезным, всем поднять настроение, заглядывает каждому в глаза, без конца шутит — очень тупо, кстати, — и, кажется, от умиления крутит невидимым хвостом. Кузине он нравится, потому что его шутки ей понятны. Но хотя Шут расточает свое остроумие в основном перед Кузиной, я знаю, что его внимание направлено в иную сторону, и если бы я хоть раз улыбнулась в ответ на его усилия, он, наверное, умер бы от счастья на месте, как заблудившийся пес, которого наконец приласкала рука долгожданного хозяина.

Бретер — полная противоположность брату. Его темно-зеленые глаза всегда насмешливо сощурены, черные волосы зачесаны назад гладко-гладко, от этого лицо приобретает просто-таки разбойничье выражение. Бретер подмечает каждое некстати сказанное другим слово, в ответ на любую фразу у него заготовлена ехидная реплика.

Наибольшее наслаждение для Бретера — вывести собеседника из равновесия, вызвать внезапную ненависть к своей персоне, и в критический момент сделаться милым невинным простачком — а чего вы этак вдруг рассердились, господа? Единственные, кого Бретер не способен задеть, это Шут — тот просто не замечает обидного, считая, что брат по доброте душевной покровительствует ему, — и кузина. Несмотря на весь внешний цинизм Бретера, нельзя не заметить, что он влюблен в эту дурочку, извините за каламбур, как последний дурак. Но она, как и следует особе с ее умственными способностями, ничегошеньки не замечает и боится Бретера, как злого пса.

Они съедутся в одно время, минута в минуту. Я даже знаю, какие разговоры будут вестись за длинным столом. И знаю, что кто-то обязательно скажет полушепотом: "Господа, а вы слыхали, что *эти* снова подъезжают совсем близко..."

Разговор на минуту утихнет, а потом все начнут рассказывать, кто что слышал последнее время про *этих*. Такие разговоры неприятно волнуют меня. Это непристойно.

Разъедутся все тоже одновременно, дождь поглотит неясные силуэты их экипажей, в распахнутые окна ворвется осеннее утро и выветрит остатки неискренних улыбок, звучных слов и злобного шепота. И вдруг покажется, что никого тут и не было.

Я не знаю, для чего каждый год устраивается этот бал. Не думаю, что кому-то он приносит удовольствие. На нем не звучит музыка, не готовятся редкостные кушанья. Правду сказать, даже не помню, из чего состоит торжественного угощение. Потому что если есть стол, должно быть и угощение. Но я никогда ничего за этим столом не ем.

После бала из подсвечников достают недогоревшие свечи, старательно соскребают воск с позолоченной бронзы и пола и все это слепляют в большой восковый грязный шар, чтобы использовать для каких-то хозяйственных нужд.

Скоро будет бал.

Чума

Весь замок пропах горьким запахом трав. Их жгут в маленьких светильниках, охапками бросают в камин, подвешивают снопами под потолком. Женщины носят на груди полотняные мешочки, набитые теми же травами. Иногда вместе с травами в мешочки ложатся священные реликвии — частица мощей какого-нибудь Божьего

угодника, щепочка от Креста Господнего или перышко Святого духа. Но я замечаю, что отчаяние заставляет людей признавать совсем иные святыни, и нередко рядом с кипарисовым крестиком и мешочком с травами на груди хорошенькой девицы можно увидеть высушенную лапку лягушки или летучей мыши, или еще что-то подозрительное, темное, сморщенное, похожее на сухой гриб.

Я, кроме Святого Креста, не надеваю ничего, даже украшений. Во время мора это непристойно.

Обычно чума приходит летом, когда от болот поднимаются ядовитые испарения, или осенью, когда холодные дожди превращают землю в сплошную грязную кашу. Теперь зима. Люди говорят, очень плохо, если чума приходит этой порой. Значит, она такая сильная, что не боится самых лютых морозов.

Наверное, очень тяжело умирать под скулеж вьюги, в душной избе, а потом кому-то приходится долбить каменную промерзлую землю, чтобы спрятать в ней твое окоченевшее тело, и не хватит у него силы на доброе слово о не вовремя умершем.

Хотя во время чумы люди возвращаются к языческим обычаям, стаскивают своих покойников в кучу и сжигают. Я вижу в окно далекий дым от этих чудовищных костров.

Я не боюсь чумы. Я хорошо знаю ее. Она не злая, только очень голодная. Тяжело кого-то винить за то, что он утоляет свой голод. Человек, который растоптал муравейник, виноват намного больше. Если бы чума имела такую жажду разрушения и немилосердность, как человек, она давно уничтожила бы последнего представителя рода людского.

Но чума всегда заканчивается. И опустевшие города и села вновь наполняются веселыми и сварливыми голосами.

Хорошо уже то, что во время чумы никогда не приезжают *эти*. Вряд ли они боятся. Должно быть, им просто делается тут скучно.

Время от времени со стороны деревни долетает жалобный звук колоколов. Им отзывается торжественным басом колокол нашего замкового храма. От его голоса мелко дрожат хрустальные бокалы и звенит положенный на край тарелки нож.

Я осеняю себя знаком креста. Две женщины, что стоят за моей спиной, делают то же самое. Потом одна из них подходит к камину и сыплет в огонь пригоршни трав. Едкий запах растекается по комнате. Колокол все бьет, где-то ему вторит колокол на деревенской звоннице, и не слышно ни людского голоса, ни плача.

Со стола убирают посуду, и я остаюсь одна. В моих пальцах — сухой цветок. Он упал из снопа, подвешенного под потолком.

Наверное, когда-то его лепестки были синие. Сейчас они бледные, как выцветшая бумага, только на самых кончиках сохранилась линялая синь. Цветок легкий и твердый. Я сжимаю его в пальцах, но он почему-то не крошится. Только ломается пополам тонкий стебель. Я чувствую, что уколола пальцы, и бросаю цветок на пол. Мертвое всегда враждебно живому. Даже если это цветок. Неужели люди думают, что убитые ими растения станут спасать своих убийц?

Колокола стихают. Слышен голос вьюги. Он то вздымается до неприятного воя, то почти стихает, словно кто-то ходит под окнами замка и не решается постучать. Но утихло. Снежное мельтешение осело на землю, и черный бархат неба пронзили острые зрачки звезд. Это хорошо, что звезды глядят на землю. Пускай их взгляд холоден до боли, это все-таки глаза ангелов. И я знаю, что скоро чума утолит свой голод и уснет. На какое-то, не тут определенное, время. Закричат на лесных дорогах дикие охотники, и из-под копыт их коней будут вздыматься снежные фонтаны. Странствующие музыканты снова будут проситься в замок – повеселить пани и отогреться, отъесться после зимней дороги (к сожалению, лучшие из них зимой не странствуют – им охотно дают пристанище до весны в любом замке, помня про долгую череду темных вечеров, к которым так подходят старинные баллады).

Травы догорают в камине, их колкие стебли корчатся и изгибаются в огне. Завтра прикажу достать шкатулку с моими любимыми жемчужинами.

Крестины.

Если в канун дня моего рождения в деревне рождается девочка, меня просят быть крестной матерью. Я не должна отказываться. Таков обычай.

Крещение происходит в замковом храме. Я прихожу туда в белом платье с большим кружевным воротом, который подымается за моими плечами подобно накрахмаленным крыльям. Мне дают держать небольшой полотняный сверток, в котором можно разглядеть только крохотное красное подобие лица. Я держу на руках человеческое дитя и, как могу, желаю ему в мыслях счастья, прошу у Господа, чтобы наделил он это свое создание способностью радоваться красоте мира, умением видеть и смелостью защищать эту красоту.

Девочка будет носить имя моей святой заступницы. В качестве подарка я надеваю на крестницу ожерелье из жемчужин. Вряд ли я

увижу более это дитя. Оно вырастет и переживет не один мор, и не одна дикая охота сорвет с деревенской девчонки венок. И весь свой век будет эта девочка, потом женщина, запасать полотна и ожерелья, слова любви и завистливые взгляды соседок, и никогда не запасет вдоволь. И когда-нибудь завернет дрожащими руками свое новорожденное дитя в береженый белейший повойник, и решит, что лучше пригласить крестной матерью не пани, а соседку, у которой никогда не издыхают свиньи. Будет больше удачи. И потемнеют мои жемчужины вместе с десятком серебряных монет в глиняном горшке, закопанном под восточным углом избы.

Я передаю окрещенное дитя на руки матери. Что я могу изменить? Только добавить еще одну нить жемчуга.

За окном серое весеннее небо. Шиповник тянет к нему оголенные ветви, словно просит скорее зажечь на них розовые огни, скорее освободить их из черно-белого мертвого мира. Колокол на замковой башне бьет один раз. Я беру из черной шкатулки жемчужину и аккуратно нанизываю на навощенную шелковую нитку. Вчера эти пригоршни жемчужин просверлили по моему приказу. Разумеется, снизать их в ожерелье могли бы и служанки, но я всегда делаю это сама.

Колокол бьет еще раз. Сегодня день моего рождения. Ничего не произойдет. Все знают, что я не праздную этот день. Я, признаться, боюсь его. Смешно, но я даже не смотрюсь в этот день в зеркало.

Зеркала только прикидываются, что покорно подражают нашему миру. На самом деле за холодной твердой оболочкой находится нечто иное, куда большее за тонкий слой амальгамы. Не стоит лишний раз позволять тому заглядывать сюда.

Жемчужное ожерелье увеличивается. Вот оно уже скручивается петлями на моих коленях. Не знаю, станет ли это ожерелье подарком.

Нитка заканчивается. Я беру ее начало, соединяю с концом и завязываю в крепкий узел. Теперь эти жемчужины никогда не ударят звонким градом по каменному полу. Хотя – кто знает? Их соединяет всего только навощенная нитка…

В шкатулке остались еще жемчужины. Я зачерпываю их, пересыпаю с ладони на ладонь. Но – просверленные—они молчаливы и тусклы, каждая словно с пятном тайного греха, лишена чистоты и внутреннего покоя.

Ссыпаю жемчужины назад, в шкатулку, туда же кладу только что снизанное ожерелье и закрываю тяжелую крышку. Теперь шкатулка на столике. Как маленький гроб. Отворачиваюсь от окна.

Снова крики *этих*. Они подъезжают к самым кустам шиповника, что-то кричат. Да, действительно, зовут с собой. Интересно, что было бы, если б я однажды вышла к ним. Возможно, они просто отъехали бы от меня, молчаливые и растерянные.

Но я никогда не выйду к *этим*. Непристойно.

Сегодня не будет крестин. Не будет белого платья с высоким кружевным воротом. Жемчужины останутся похороненными в шкатулке.

Крики стихли. Слышно только, как в вечернем сумраке с ветвей падают крупные капли. Словно ходят на звонких каблучках маленькие человечки.

В такие минуты мне кажется, что мой настоящий день рождения еще не настал.

Но я и не знаю, стоит ли мне рождаться.

ЖЕНИХ ПАННЫ ДАНУСИ

Страшный рассказ

За месяцем месяц идет,
Вот всадник стоит у ворот
Осенней порою ночной:
«Ты помнишь ли, дева мила,
Как прежде меня любила?
Садись на коня со мной!» —
«Мой милый, всегда с тобой!".

Древненемецкая баллада.

Фарфоровые пастух и пастушка прошлись в танце под нежную мелодийку "Ах, мой милый Августин!", и белоснежные фарфоровые же голубки над ними нежно соприкоснулись розовыми клювиками. Часы пробили девять вечера.

Панна Дануся, очаровательная выпускница Мариинской женской гимназии города М*, забросила в сочный ротик очередную порцию изюма. Ах, как скучно... Папуля и мамуля ушли в гости, на дворе сеется мелкий октябрьский дождь, занудливый, как учитель латыни, и нет способа развеяться бедной барышне, ведь приличная обрученная девица не должна бродить в сумерках по местечку в поисках приключений... Одно утешает — завтра Дануся будет петь в

хоре Попечительства сторонников трезвости, а после — танцы! Благотворительный базар, и элегантный Генусь из акцизного банка подносит вазочку с конфетами...

Под влиянием сладких грез панна Дануся бросила в ротик еще пригоршню изюма и завертелась на обшитом синим, в розовые цветы бархатом диване, от чего тот жалобно вскрикнул всеми пружинами. «Дануся, Вы настоящая рубенсовская женщина», — говорил преподаватель гимнастики Мариинской женской гимназии господин Самич, когда гимназистка Данута Топтевич никак не попадала в такт с одноклассницами в деле доставания ладонями носков туфелек...

Нет, немногого добились женщины на пути эмансипации! Только что во время французской революции добились права носить трусики...

Прогрессивные раздумья панны Дануси прервал стук в окно.

— Дануся! Открой! Это я, Габрусь!

Красавица подлетела к окну под скрипучий вздох облегчения освобожденного дивана. Действительно — за мокрым стеклом белело вытянутое лицо Данусиного суженого Габруся. Лицо это почему-то всегда напоминало Данусе рабочую поверхность пресс-папье, хотя какая тут могла бы быть ассоциация — разве пресс-папье имеет круглые очки с позолоченными дужками и красные прыщи?

Однако — почему такой неожиданный визит?

— Ты же должен быть на инспекции железной дороги, — прокричала Дануся.

— Я приехал к тебе, моей дорогой невесте, — немного глуховато, но вполне разборчиво произнес Габрусь. — Выходи скорей, покатаешься на моем автомобиле...

Автомобиль! Белое вытянутое лицо Габруся вдруг показалось Данусе очень симпатичным и интеллигентным. Автомобилей в городе М* было пять — жители знали каждый и каждого из их владельцев. Проехаться в шикарном воплощении прогресса — заветная мечта местечковой барышни... Дануся бегом бросилась открывать двери дорогому гостю, на ходу выдергивая из буйных локонов папильотки.

Габрусь был в своей строгой форме чиновника железнодорожной управы. Поверх фуражки он натянул капюшон, так что из всего лица были видны только блестящие очки.

— Я пришел за тобой, Данута... Помнишь ли ты слова любви...

Но Дануся не слушала сентиментальное бормотание жениха. На улице, перед калиткой, действительно стоял автомобиль! Он был блестящий, как рождественская елка, и торжественный, как духовой оркестр.

«Скоро стемнеет! — мелькнуло в Данусиной завитой головке. — Никто не увидит! Надо срочно ехать!».

Габрусь отказался зайти в дом и подождать, пока невеста одевается. Он, как столб, стоял перед дверью, и Дануся даже через прихожую слышала бесконечные рассуждения о неземной любви.

Дождь, наверное, от осознания торжественности момента, приостановился. Габрусева невеста победно опустилась на мягкое кожаное сидение авто. Машина немного присела на все четыре колеса, но это была сильная импортная машина.

Береза около калитки Данусиного двора зашумела-заголосила пожелтевшей листвою: «Не езди, Дануся, останься!». Но возможность проехаться в автомобиле перевешивала даже мнения о приличествующем паненке поведении.

(Ах, как редко прислушиваемся ли мы к пророческому голосу природы, и к каким печальным последствиям приводит наша непоправимая невнимательность!).

Дануся велела жениху опустить кожаный верх машины и гордо подняла над собой кружевной зонтик. Вечернее солнце догадалось просунуть между тучами свой робкий луч, чтобы высветить выдающееся зрелище: по улице Болотной города М*, обычной местечковой (то есть, местами пригодной для проезда) улице, на которой городские власти так и не решились поставить фонари, ехал «Лорен-Дитрих» цвета губернского счастья. Данусе казалось, будто за ее спиной на буферах авто, как на запятках кареты, стоят лакеи в напудренных париках.

— А не страшно тебе ехать со мной, Дануся? — совсем неуместно глухим голосом спросил Габрусь невесту. Но утонули слова его в мощном крике солистки хора Попечительства сторонников трезвости.

— Габрусик! Остановись здесь, перед следующим домом! Зося! Зося!

Автомобиль испуганно притормозил. За забором стояла рыжая Зося, бывшая одноклассница Дануси, и поедала глазами триумф подруги.

— Зося поедет с нами! — приказала невеста Габрусю.

Тот немного нервно начал сопротивляться неожиданным обстоятельствам, снова ссылаясь на неземную любовь и прочую романтическую путаницу. Зося уже сидела рядом с Данусей, красиво расправляя складки своей необъятной парадной юбки с оборками.

Авто двинулось вперед. Прекрасные барышни верещали и все время заставляли апатичного Габруся нажимать на резиновую грушу

звукового сигнала. Но упрямый Габрусь не поехал по людным улицам, где жили знакомые, а правил в сторону Кальварийского кладбища, мимо хутора Медвежино, где действительно было глухо и темно, как в медвежьей берлоге.

В вечернем полумраке показались белые ворота кладбища. По верху ворот, над изображениями ужасных эмблем смерти, красовалась торжественная надпись по-польски с орфографической ошибкой в слове «Spokoj». Несмотря на протесты барышень, Габрусь направился туда, на мощеную дорожку меж могил. Дорога вела к суровому псевдоготическому зданию костела. Мрачные старые липы сомкнули над дорогой свои костлявые черные кроны, будто мертвые пальцы. Зловеще хрипели вороны. Над входом в закрытый храм тускло светилась лампадка — далекое-далекое окошко в тот мир, куда нам, грешным, идти не дойти...

Остановил Габрусь автомобиль, повернулся к милым барышням. Угрожающе сверкнули очки на вытянутом белом-белом Габрусевом лице.

— И чего ты припер нас сюда? — громко возмутилась Дануся.

— Нашли время, пан Габрусь! Храм же закрыт! — поддержала подругу рыжая панна Зося, у которой от злости чуть не осыпались веснушки.

— Мы приехали на место! — непривычно жестко и торжественно сказал Габрусь и вскинул длинные руки в онемевшее небо, как вскидывает крылья черный журавль, собираясь взлететь от беспощадной охотничьего ружья. — Узнай же, невеста моя, верная Данута, что...

— Ой, тут же новую уборную недавно построили! — догадалась панна Дануся. — Габрусик, бедный, в туалет хочет, вот и заехал сюда, — нежным шепотом пояснила она подруге. — Он такой интеллигентный... Он не ходит за угол, как обычный мужик... Иди, Габрусик! Мы подождем...

— Нет, в таком случае, давай сразу мы сходим! Пан Габрусь будет так добр... — кокетливо обратилась панна Зося к владельцу автомобиля.

— Остановитесь, несчастные! Вы не понимаете... — молил Габрусь, смешно размахивая худыми руками, но барышни уже скрылись в маленьком изящном домике у кладбищенской ограды.

Неуклюжая Габрусева фигура бродила взад-вперед возле «Лорен-Дитриха» так отчаянно, что случайно пролетавший над кладбищем ангел уронил на беднягу свою бесценную слезу и полетел дальше, за тучи, в высокое-высокое синее небо, зажигать первую

свечу-звезду во славу Господню ради заблудших слепых наших душ... Но не почувствовал благодеяния чистой ангельское слезы бедный Габрусь, а может, подумал, грешным делом, на ворон...

Над кладбищем разнеслась очень мелодичная и поучительная песня из репертуара хора Попечительства сторонников трезвости города М*.

Навстречу идущим, взявшись под руки, «жавороночкам» бросился Габрусь в последнем усилии высказаться:

— Данута! Похоронную песню спой! Ведь поезд, на котором ехал я на инспекцию железнодорожной станции Н*, лежит под откосом, пущен туда коварными руками эсеровской организации. И среди тех достойных сожаления обломков покоится мое бедное тело... А то, что сейчас перед вами, — измученный влюбленный дух... О, Дануся моя...

Удивительный монолог прервался веселым пронзительным звуком клаксона, на который нажала шаловливая ручка панны Дануси. Обе девушки уже сидели на мягком кожаном сиденье авто, и первая звезда просматривала сквозь кружевной Данусин зонтик...

Юзефа Шикулевич, достойная, но бедная вдова, зарабатывала на жизнь самым набожным делом — мыла полы в костеле. Однажды осенним вечером закончила госпожа Шикулевич свою работу, задула последние свечи, тщательно очистила от воска подсвечники... А на кладбище резвилась безбожная молодежь. Слышался беззаботный смех (и это в месте, которое само напоминало человеку о его смертности!), после анархистки пели песню, наконец вечный покой кладбища нарушил пронзительный, действительно дьявольский звук. Пани Юзефа, надеясь на высшую защиту, выскочила из храма и в неверном вечернем свете увидела это... Чертова повозка!

К сожалению, Юзефа Шикулевич не была прогрессивной женщиной. Она с чистой совестью подбрасывала бы хворост в костер, на котором мракобесы сжигали Яна Гуса. И появление перед святым храмом призрака надвигающегося автомобильного века восприняла должным образом, перекрестила его и приказала:

— Vade retro, satanas!

Дануся и Зося, милые приличные барышни и выпускницы Мариинской женской гимназии, сидели самым недостойным образом на голых мокрых камнях Кальварийского кладбища, причем Дануся держала над собой кружевной зонтик.

Мимо ошалевших девушек прошла маленькая сухонькая старушка в черном и удивила их победным издевательским хохотом. Габрусь — да Бог с ним, с Габрусем, — автомобиль марки «Лорен-

Дитрих», сверкающий, как рождественская елка, и торжественный, как духовой оркестр, — оба исчезли бесследно...

«Sic transit gloria mundi» — так могла бы сказать панна Дануся, возвращаясь домой тем страшным осенним вечером. Могла бы, если бы имела за гимназический курс латыни оценку «отлично» или хотя бы «хорошо»... Но в графе «латинский язык» в Данусином аттестате стояло каллиграфическое «удовлетворительно». И Дануся не сказала ничего... Особенно папуле и мамуле, когда те вернулись из гостей...

На другой день пришло известие, что бедолага Габрусь действительно погиб в железнодорожной катастрофе в результате антиправительственной диверсии.

Но Дануся имела формы рубенсовских моделей, а Генусь из акцизного банка, хотя и не имел автомобиля, целиком доверял вкусу известного художника Рубенса.

Поэтому и нет в нашем повествовании ничего действительно ужасного, кроме того, что в городе М* сейчас очень много автомобилей и практически нет настолько преданных женихов.

ХАРИС, ЭРОС, АГАПЭ...

Никто не знает, как выбирает женщина.

Гипархия смотрит на алый, неестественно большой диск солнца, который опускается над морем под тяжестью своей жаркой усталости.

Она все еще красива — темноглазая, с необычайно белой нежной кожей, которую не смогли обветрить тысячи ветров, женщина-философ...

(Как она ненавидела свою женственность! Сколько снисходительности в этом добавлении — “женщина-поэт”, “женщина-ученый”, “женщина-политик”...)

Темные кипарисы на фоне вечернего неба — как воплощенный принцип автарксии — самодостаточности личности. Гипархия тоже старается не двигаться, словно боится разбудить того, чья голова на ее коленях.

Он часто засыпал на ее коленях... Но это — в последний раз.

Кратет Фиванский, знаменитый философ-киник... (благословенно время, когда философы — знамениты!). Когда-то самый богатый человек в городе, он роздал свое богатство, сбросил его с себя, как цепи — пусть золотые, они не более, чем символ рабства...

Безупречный мудрец. “Тот, кто отворяет все двери” , — он приходил в каждую семью, в каждый дом — лачугу или дворец, где нуждались в слове согласия и мудрости...

Непреклонный киник, который спал на камнях и выбросил даже глиняную чашу, увидев, как мальчик черпает из ручья ладонью...

Но одна слабость у него была. Гипархия знает это наверняка. Потому что слабостью Кратета Фиванского была она, белокожая Гипархия...

На темный, бугристый, покрытый морщинами лоб покойника садится блестящая зеленая муха. Она ползет к носу в старческих фиолетовых прожилках. Гипархия отгоняет бесстыдную вестницу смерти.

Да, он никогда не был красавцем. Сказать правду — он был просто уродливым горбатым и хромым стариком в грязных лохмотьях... А она, непобедимая в своей юной красе, требовала:

— Возьми меня! Я буду твоей женой, Кратет! Или уйду из жизни!

За спиной причитали ее родители. Брат Метрокл, изнеженный, завитый барашком мальчик, наблюдал со стороны с брезгливым интересом (увидал бы Метрокл тогда себя сегодняшнего — обросшего, исхудавшего и с истинной философской отрешенностью на лице). В дверях толпились граждане города, ученики Кратета, противники Кратета...

Он, Кратет, и сам пытался ее отговорить... Но она видела его глаза!

Наконец, почти обессиленный борьбою с тем, с чем бороться не хотел, он сорвал с себя лохмотья:

— Смотри, Гипархия! Вот твой будущий муж и все, что он имеет!

И тогда, под десятками любопытных взглядов, она сбросила, стоптала себе под ноги тонкий надушенный хитон... И как последний довод — на смятую ткань упали ее браслеты и серьги.

Она выбрала.

Прекрасная Леда, безжалостно ломая тростник, который был когда-то прекрасной нимфой Сирингой, сбегает к сияющему лебедю... Европа ласкает тонкой смуглой рукой могучую спину белого быка... Даная ловит ладонями трепетные струи золотого дождя... И все они выбирают одного и того же бога. Все женщины выбирают одного — во многих, многих неисчислимых обличиях...

Алый диск касается границы, что разделяет море и небо. И каждая волна несет к берегу частичку теплого багрянца — словно осыпаются розы и колышутся-плывут лепестки.

Час назад Гипархия украдкой положила в рот умершего обол — необходимую плату Харону... Бывают моменты, когда суеверия необразованной толпы не кажутся такими уж бессмысленными... Гипархия затаенно вздыхает — от этого вздох получается судорожный, похожий на плач. Нельзя... Вон они, непреклонные киники, верные ученики мудреца Кратета. Каждый — самодостаточен, каждый презирает материальные блага, а также немудрых людей, их суетливые дела и ненужные знания...

Аскесис.. Апайдеусия... Автарксия...

Сколько упреков пришлось выслушать учителю! Уступил желаниям плоти... Отошел от бесстрастности настоящих мудрецов... И вообще, как говорил Теофраст, нельзя одинаково хорошо служить женщине и книге. Не из-за этих ли упреков так старался Кратет доказать всему миру, что она, Гипархия — не помеха мудрости, но вместилище ее... “Сосуд” мудрости... Ха!

Он увел ее из родительского дома, и больше никогда не лежала она на мягких ложах, не одевала красивых одежд. Он спал с ней на виду — на перекрестках, в короткой южной тени платана, на ровном, как уверенность, берегу... Он стыдился своей слабости, он мучил ее... И мучился с нею... О, эти жадные насмешливые глаза... И хохот...

Гипархия почувствовала, как щеки вновь запылали от давнего стыда. Он, Кратет, уподоблялся собаке и из нее сделал собаку... Именно так называли ее румяные фиванские матроны...

А он страдал.

На императорских пирах и в холодных пещерах она ощущала его жгучую, безнадежную ревность, загнанную в самые глубины сознания и от того неуничтожимую. Он отдавал ее, свою Гипархию, чужим взглядам и суждениям, он не ограничивал ее свободы ни в чем — она могла бы пойти с любым... И он не мог не страдать от сознания такой возможности...

По краю неба протянулись туманные желто-розовые полосы, нежные и радостные. Такие следы мог бы оставить Сфинкс на золотом песке пустыни.

—Ты не должна сожалеть о бесполезном человеческом прахе, Гипархия!

А, Зенон... Любимый ученик... Он уж точно не уступит желаниям плоти...

Гипархия не отвечает, и Зенон, укутанный в выцветшие лохмотья, — про такие Сократ говорил, что сквозь них просвечивает честолюбие их хозяина, — уходит в вечер, в вечность, в себя...

Тело Кратета тяжелое и холодное, словно окаменевшее. Наверно, мыслящий камень был бы идеальным философом. Самодостаточный, независимый...

Эти долгие ночи на холодных камнях! Рядом храпит горбатый хромой старик, от которого несет псарней...

Чушь! Какая чушь! Быть примером — жить ради того, чтобы быть примером ,— превратиться в живой пример — “Собака!”.

Ненавижу...

Гипархия решительно опускает голову умершего на песок и встает. Ноги занемели... Что теперь? Серые балахоны философов сливаются с сумерками. Море дышит прохладой и соблазном дальних путешествий... Может быть, там, где утонуло солнце, действительно есть придуманный Кратетом остров Пера —”Сума”, на котором живут одни философы, растут чеснок и смоквы и никто ни с кем не враждует?

Гипархия отбрасывает за спину распущенные в знак траура волосы. Темный водопад, в котором тонут... Она все еще красива! И еще может иметь детей...

Женщина закрывает лицо руками. Теперь она свободна новой свободой. Когда-то ее избавителем от обычной женской доли был Кратет — теперь она свободна от Кратета...

Что дальше?

Гипархия оглядывается на жалкую остывшую плоть...

Как он смотрел на нее тогда, когда она выбирала...

Отблеск этого чувства был всегда в его взгляде.

Чувства... Какого?

Сколько названий придумано для обозначения любви в зависимости от оттенка чувства: эрос — любовь-страсть, потос — желание, харис — уважение, агапе — преданность, филия эретике — дружба...

А как называется их любовь?

Женщина упала на колени. Как больно... Самые горькие слова — “никогда”, “навсегда”...

Спаси меня, моя философия... Его философия...

Автарксия.. Апайдеусия... Аскесис...

Гипархия повторяет эти слова, как молитву. Но постепенно они сменяются другими, тихими, таинственными: харис... эрос... агапе...

Звезды, крупные , прекрасные, вспыхивают одна за другой на темно-синем небе Эллады. В миртовых рощицах подчеркивает

тишину стрекот цикад. На перекрестки дорог направляет свое зеркало Геката, богиня ночи, ожидая положенных (и неизбежных, как человеческие зло и неблагодарность) жертвоприношений. Угрюмый Харон собирает в бездонный кожаный кошелек оболы. Бедные монеты позвякивают глухо и жалобно, словно тоже умирают...

На благословенном берегу теплого моря, неподалеку от славного города философов, над телом старого Кратета-киника рыдает знаменитая Гипархия.

Рыдает отчаянно, по-женски, может быть, впервые в жизни. Рыдает, сжимая руками похолодевшие ладони того, кого она выбрала...

СОДЕРЖАНИЕ